



Евгений Иванович Чазов
Александр Леонидович Мясников
Я лечил Сталина: из секретных архивов СССР

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=611205
Я лечил Сталина: из секретных архивов СССР: Эксмо; Москва; 2011
ISBN 978-5-699-48731-8

Аннотация

Российскую историю XX века так усердно переписывали, что не поймешь, где полуправда, а где неприкрытая ложь. Поэтому с особым чувством открываешь предельно откровенные мемуары настоящего русского доктора. Наш современник академик Чазов назвал своего учителя великим ученым и врачом, который честно и правдиво отразил историю нашей страны от царя Николая II до уникального большевика Н. С. Хрущева.

Александр Леонидович боролся в последние годы жизни вождя за ее сохранение и оставил единственное правдивое свидетельство о последних часах и причинах смерти И. В. Сталина. В годы войны он служил главным терапевтом Военно-морского флота и не скрыл жестокую правду о блокаде Ленинграда. А. Л. Мясников был удостоен высшей награды Международного общества «Золотой стетоскоп», коллекционировал картины и ходил в театр с молодыми аспирантками. Его характер и прямые высказывания добыли ему зависть и устойчивое неприятие властей предрежащих в СССР. Его не тронули, но на юбилей известного академика и ученого с мировым именем не пришел никто из руководства Минздрава. Рукопись была запрещена к печати и 45 лет хранилась в секретных архивах ЦК КПСС.

Теперь возьмите книгу в руки и посмотрите, многое ли изменилось за эти годы? Получилось ли извлечь урок из трагической и прекрасной истории родной страны?

Содержание

1. Детство. Красный Холм	7
2. Гимназия. Кавказ. Война	23
3. Московский университет. Революция	40
4. Клиника Ланга. Ленинград	57
Конец ознакомительного фрагмента.	64

Александр Мясников, Евгений Чазов

Я лечил Сталина: из секретных архивов СССР

Уважаемые читатели!

В ваших руках мемуары корифея советской, да и мировой медицины, учитывая, что Александр Леонидович Мясников, академик Академии медицинских наук Советского Союза, профессор, врач, один из немногих медиков мира был удостоен высшей награды Международного общества кардиологов – «Золотой стетоскоп».

Сейчас издается много мемуаров представителей различных профессий и слоев общества. Чем же выделяются предлагаемые мемуары ученого, врача, если издавать их решили через 45 лет после их создания? Нет, не тем, что Александр Леонидович был врачом, который боролся в последние годы жизни И. Сталина за её сохранение и лучше и откровеннее всех изложил истину его смерти, вокруг которой столько домыслов историков и политиков. Не только тем, что изложил истину жизни ленинградцев в период блокады Ленинграда, где он служил главным терапевтом Военно-морского флота.

Прежде всего, описывая свою жизнь, он честно и правдиво показал историю нашей страны – от царя-батюшки до уникального большевика Н. С. Хрущева. Именно такое впечатление было у меня, когда я прочитал и впервые в 1966 году. У меня сложилось даже мнение, что они не произведут большого впечатления на широкие круги читателей тех лет. Но когда я их перечитал вновь, в наше время, более чем через 40 лет, пройдя большой жизненный путь, понял, что в мемуарах Александра Леонидовича главное не история, а философия жизни, ее непредсказуемость.

Конечно, прав был Г. Гейне, заявляя: «Каждый человек – это мир, который с ним рождается и с ним умирает; под каждой могильной плитой лежит всемирная история».

Мир Александра Леонидовича – это, прежде всего, медицина, врачевание, где он сделал многое, и главное, что он заложил первый камень в создание отечественной кардиологии и не только своими научными работами в области изучения атеросклероза в клинических условиях, причин и механизмов формирования артериальной гипертонии, но и создал первый журнал по проблемам кардиологии, общества кардиологов. Без преувеличения он был одним из тех, кто вывел нашу медицину на международный уровень.

Я был свидетелем международного признания Александра Леонидовича как одного из ведущих кардиологов мира, на встречах с выдающимися учеными США, Германии, Франции, Италии, на международных съездах и конференциях. Но мемуары Александра Леонидовича не только и не столько о медицине. Они о жизни человека, преодолевшего много преград на своем пути и сохранившего честность, порядочность, оптимизм и веру в людей.

Прекрасно сказал А. Сент-Экзюпери: «Надо много пережить, чтобы стать человеком». Своей прямоотой и свободой высказываний и мнений, принципиальностью, да еще завистью к его таланту ученого Александр Леонидович нажил немало врагов, начиная со студенческой скамьи, когда по доносу кого-то из окружения попал в Бутырскую тюрьму за призыв к студентам бороться за самоуправление в Московском университете. И только вмешательство наркома здравоохранения Н. А. Семашко спасло его от тяжелых последствий.

А тяжелые годы становления как ученого и врача, когда благодаря заявлению партийной ячейки он был лишен возможности работать в должности ассистента клиники, предложенной ему профессором Д. Д. Плетневым, и вынужден был уехать в Ленинград с его письмом к Г. Ф. Лангу с просьбой устроить на работу талантливого студента. Мест не было,

и Александр Леонидович работал как экстерн, без зарплаты, перебиваясь случайными консультациями и выступая в качестве помощника на частных приемах больных Г. Ф. Лангом.

Может быть, вспоминая эти события в тяжелой для меня обстановке исключенного из партии человека, когда решалась не только моя судьба, но и судьба создаваемого мной метода тромболитической терапии, Александр Леонидович не только меня поддерживал, но и сделал официально своим заместителем. Но больше всего меня поразило, что на его юбилей – известного академика, ученого с мировым именем – не пришел никто из руководства Минздрава, а короткое сухое поздравление было прочитано заурядным чиновником. А как еще могло быть, учитывая характер и высказывания А. Л. Мясникова, касающиеся руководства.

А. Л. Мясников внутренне художник, собравший одну из самых известных частных коллекций, любил все красивое и оригинальное. Любил со своими красивыми аспирантками посещать филармонию, выставки картин. Однажды, в филармонии с одной из аспиранток он оказался рядом с бывшим тогда министром здравоохранения Курашовым и его женой, которая после концерта заявила мужу, что она не представляла такого низкого уровня морали у профессоров, которые находятся в руководимой им системе здравоохранения. Министр не мог не прислушаться к жене и на другой день утром позвонил ректору 1-го Московского мединститута В. Кованову, который через десятилетия рассказал мне эту историю, и потребовал разбирательства такого поведения. Мясников узнал об этом звонке и возмущенный сам пришел к ректору и заявил: «Я готов сейчас написать заявление об уходе из института. У меня есть Институт терапии. А министру заявите, что я хожу на концерты, в театры с теми, с кем хочу. И пусть он разбирается лучше в здравоохранении, где полно проблем, а не лезет в чужую жизнь. В. Кованов, зная характер А. Л. Мясникова, заявил: «Александр Леонидович, вот когда я узнаю, что Вы перестали ходить с красивыми аспирантками в театр, я скажу Вам – А не пора ли Вам, Александр Леонидович, уходить на пенсию».

И в виде заключения я вспомнил прекрасное четверостишие Расула Гамзатова:

«Он мудрецом не слыл,
И храбрецом не был.
Но поклонись ему —
Он человеком был».

Прочитайте мемуары Александра Леонидовича Мясникова – мемуары не только великого ученого и врача, но и Человека.

Е. И. Чазов

* * *

Поздно вечером 2 марта 1953 года к нам на квартиру заехал сотрудник спецотдела Кремлевской больницы. «Я за вами – к больному хозяину». Я быстро простился с женой (неясно, куда попадешь оттуда), и мы помчались на дачу Сталина в Кунцево (напротив нового университета).

Мы в молчании доехали до ворот: колючие проволоки по обе стороны рва и забора, собаки и полковники, полковники и собаки. Наконец мы в доме (обширном павильоне с просторными комнатами, обставленными широкими тахтами; стены отделаны полированной фанерой). В одной из комнат были уже министр здравоохранения профессор П. Е. Лукомский (главный терапевт Минздрава), Роман Ткачев, Филимонов, Иванов-Незнамов...

Сталин дышал тяжело, иногда стонал. Только на один короткий миг, казалось, он осмысленным взглядом обвел окружавших его. Тогда Ворошилов склонился над ним и ска-

зал: «Товарищ Сталин, мы все здесь твои верные друзья и соратники. Как ты себя чувствуешь, дорогой?» Но взгляд уже ничего не выражал.

1. Детство. Красный Холм

Родился я 6 сентября старого стиля 1899 года, следовательно, все-таки в прошлом столетии (не потому ли сохранились во мне на протяжении жизни некоторые понятия и вкусы прошлого века?) в городе Красный Холм Тверской губернии.

Мой отец, доктор Леонид Александрович Мясников, был, как все знавшие его считали, человек выдающийся по своим интеллектуальным качествам и личному обаянию. Он родился в том же городе в 1859 году в довольно зажиточной купеческой семье.

Его отец, мой дед, Александр Иванович торговал не столь успешно «красным» товаром (ткани, галантерея); его обворовывали приказчики; сам он был человеком добродушным и весьма религиозным – все годы был церковным старостой, построил на свои деньги богадельню, возвел новый собор около кладбища. Я не застал деда в живых, но в детстве слышал, что он оставил о себе хорошую память.

Мать отца, моя бабушка Анастасия Сергеевна, из мещан того же города, была энергичной и умной женщиной. После смерти мужа она жила одна и умерла уже после революции, в 1920 году (85 лет от роду, во сне, при жизни «ничем не болела»). Была она проста, приветлива, но, говорили, немного скуповата. Впрочем, мне она на праздники и на именины всегда делала прекрасные подарки (как и другим внукам и внучкам).

У родителей моего отца были еще дети: двое сыновей и одна дочь. Всем детям родители предоставили возможность получить широкое образование по их выбору. Не было обычного для тогдашней жизни нажима задерживать детей дома, поставить за прилавок – для продолжения «дела». Решающее значение при этом имела судьба старшего сына – моего отца. В 1873 году он отправился учиться в Москву, во Вторую гимназию (это был первый в истории горожан Красного Холма случай; до тех пор отправлялись в гимназию только дети дворян, помещиков). Учился отец весьма хорошо. На каникулы приезжал домой, привозил с собою колбы и реторты для занятий химией и ворох книг – Гёте, Гейне, Байрона, Шекспира, Писарева, Добролюбова; он собирал молодежь и взрослых и читал им их, а по вечерам любители разыгрывали спектакли – «Разбойники» Шиллера, «Гроза» Островского... В 1881 году Леонид Александрович поступил в Московский университет на медицинский факультет.

По примеру старшего поступили в дальнейшем и младшие дети: Александр Александрович Мясников окончил юридический факультет Петербургского университета, числился помощником присяжного поверенного, но дел не вел; вскоре он стал проявлять признаки душевного заболевания и поселился у матери в Красном Холме. Я застал этого «дядю Амбара» – так прозвали его мальчишки за высокий рост. Это был добрейшей души человек, принимавший к сердцу жестокости (хотя лично его и не касавшиеся) купеческого и мещанского уклада жизни городка и объявивший «им» (то есть различным лавочникам) войну – хотя никто, конечно, на «сумасшедшего» не нападал (он строил на чердаке своего дома батареи из пустых бутылок для «обороны», пускал какие-то «лучи» для наказания, по его, как юриста, мнению, «преступников»). А в своем кабинете дядя собрал библиотеку по общественным и историческим предметам, в том числе коллекцию революционных подпольных изданий, начиная с газет «Земля и воля» и «Народная воля» и кончая сочинениями Ленина; он снабжал ими левонастроенных горожан из среды учителей, крестьян и рабочих.

Младший брат моего отца, Сергей Александрович, окончил историко-филологический факультет Московского университета; он занимался сперва земской деятельностью (был председателем уездной земской управы в Весьегонске – Красный Холм был заштатным городком), а затем переехал в Москву. Наконец, сестра отца Ольга Александровна окончила

Бестужевские курсы в Санкт-Петербурге¹; вышла замуж за земского врача Н. П. Петрова (одного из толстовцев), они жили в Клину.

Леонид Александрович, поступив на медицинский факультет, успешно занимался, и по окончании университета в 1886 году Захарьин предложил ему остаться ординатором клиники. Не приходилось сомневаться в блестящей научной карьере, которая, казалось, была открыта перед молодым врачом. Однако отец принял другое решение; то был период, когда прогрессивно настроенные молодые люди, получив высшее образование, считали своим долгом «идти в народ», «отдать ему долг». Леонид Александрович был к тому же первым краснохолмцем, окончившим университет.

То был период, когда прогрессивно настроенные молодые люди, получив высшее образование, считали своим долгом «идти в народ», «отдать ему долг»

По приезде домой Леонид Александрович сразу же открыл бесплатный прием больных. В дальнейшем он стал взимать плату в двадцать копеек с первичного больного, так как решил на свои средства открыть небольшую больницу (городская больница не справлялась с нуждами больных и не могла получить средства для своего расширения). В 1890 году больница была открыта в нашем каменном доме (где я потом родился) – на десять коек, с оплатой питания и лекарств по тридцать копеек в день. Конечно, больница поглощала средств во много раз больше тех девяноста рублей, которые получались из оплаты лечения больными; мой отец получал нужные суммы из своей частной практики по городу, их он и тратил на больницу.

Мой отец был исключительно популярный врач. Доверие к нему больных было безграничным. «Батюшка Леонид Александрович как скажет, так и сделаем» или «так и будет» – таков был обычный рефрен пациентов. Первый десяток лет своей деятельности он был типом земского врача-универсала – кроме внутренних болезней занимался акушерством, гинекологией, хирургией (он был первым, сделавшим в нашем округе кесарево сечение). Отец живо следил за медицинскими новостями, выписывал много книг, несколько журналов. В более поздний период он стал ограничивать себя двумя специальностями: внутренними болезнями и офтальмологией. В 10-х годах этого столетия он дважды предпринял поездку за границу – в Берлин к профессору Силексу и в Вену к профессору Фуксу; в их клиниках он учился современной офтальмологии. Как к специалисту-окулисту, в 10-е – 20-е годы к нему в Красный Холм стали съезжаться больные из Тверской, Ярославской и Новгородской губерний.

Я помню многочисленные подводы крестьян, заполнявшие нашу улицу с раннего утра перед амбулаторией. Отец в развевающемся белом халате быстрыми шагами появлялся в доме, чтобы отыскать нужный рецепт или инструмент или же на скорую руку проглотить стакан молока с булочкой (обед также шел в спешке). Леонид Александрович был жизнерадостный, необычайно энергичный, подвижный человек крупного телосложения, с некоторой склонностью к полноте. Его плешивая голова с мягкими бледными волосами, его широкое мясистое лицо, серые глаза и небрежные усы с бородкой – всё было типично русское.

Леонида Александровича интересовала не только медицина. Он имел непреодолимую склонность к общественной деятельности. Не принадлежа к какой-либо политической партии, отец считал себя социалистом и сочувствовал левому течению в общественной жизни

¹ Высшие женские курсы в Санкт-Петербурге (1878–1918). Одно из первых женских высших учебных заведений в России.

страны. В нашем доме часто бывали различные политические деятели тверского земства. Как известно, тверское земство было вообще довольно передовым, хотя и возглавлялось либералами типа Петрункевича² и Родичева³. Леонид Александрович был гласным губернского земства. Он участвовал в приеме депутатов от земств, устроенном после смерти императора Александра III новым царем – Николаем II. Тверское губернское земство тогда подало царю петицию, в которой высказывалось за необходимость существенных реформ для России, в частности свободного самоуправления на основе всеобщего избирательного права. Молодой царь (маленькая фигура с бледным лицом в форме гусарского полка), принимая в Зимнем дворце депутатов, выстроенных в ряд, произнес настолько длинную речь, что все удивились, как он мог ее заучить наизусть, и петиция тверских земств получила ответ – пресловутую фразу, что «бессмысленные мечтания некоторых земств при существующем строе осуществиться не могут» [\[1\]](#).

Позже, в годы революции 1905 года, собирались у нас и подпольные революционные деятели всех оттенков. Я помню, они много спорили; это были молодые учительницы, рабочие и приезжавшие откуда-то парни в студенческих фуражках и поношенных тужурках. Рабочие были из железнодорожных мастерских. Были еще фельдшеры и фельдшерицы (врачи из округа появлялись только в других собраниях – с более интеллигентным, но менее революционно настроенным составом).

«бессмысленные мечтания некоторых земств при существующем строе осуществиться не могут»

К уважаемому доктору, конечно, заезжали и либеральные (и нелиберальные) дворяне из своих усадеб. Я помню, как Федор Измайлович Родичев вступил со мной, шестилетним мальчишкой, в дискуссию по поводу распеваемого всеми нами на дворе стишка, смысл которого заключался не столько в словах, сколько в настроении: «Что я вижу, что я слышу, Николай висит на крыше!» Он сказал, что царь, и по его мнению, плоховат, но едва ли его все-таки надо вешать. Возможно, этот важный и симпатичный человек говорил в действительности что-то другое, и более умное, но так запомнилось.

Мой отец был избран в 1899 году городским головой Красного Холма и на протяжении последующих десяти лет энергично занимался благоустройством города. Им был открыт летний театр, а позже – обширный Народный дом, в котором ставились спектакли и концерты (силами любительских кружков и приезжими на гастроли; позже, в период революций, в Народном доме устраивались сходки и общественные собрания). Средства были собраны по подписным листам среди горожан.

Вообще в эти годы краснохолмская публика любила театр и музыку. Молодежь, особенно в каникулярное время, постоянно была занята на репетициях, открылось много талантливых певцов, в дальнейшем ставших артистами столичных театров. Особенный же энтузиазм встречали постановки драматических произведений общественного содержания: «На дне», «Ревизор», «Дети Ванюшина», чеховские пьесы. Пожалуй, менее всего нравился Островский с его типами из купеческо-мещанского сословия, которым Красный Холм еще кишел; нравы, впрочем, уже значительно смягчились, кит-китычей в маленьком городе оста-

² Петрункевич Иван Ильич (1843–1928) – российский политический деятель, видный член кадетской партии. Член Государственной думы I созыва (1906).

³ Родичев Федор Измайлович (1854–1933) – российский политический деятель. Член Государственной думы I, II, III и IV созывов (1906–1917).

валось все меньше и меньше – но те, кто еще остался, хотели выглядеть более просвещенными и им не доставляло удовольствия лицеизреть себя в зеркале Островского.

Я не застал в Красном Холме среди купеческо-мещанского населения персонажей из Островского

Я не застал в Красном Холме среди купеческо-мещанского населения персонажей из Островского. Великий драматург описывал другой период; к новому столетию даже торговцы стали рядиться в розовые одежды «демократов» и «народа». Их отпрыски гнушались делами отцов, стремились в средние и высшие учебные заведения, а если этого сделать не удавалось, шли в учительство, устраивались на службе кто как мог. Еще можно было продавать книги или их переплестать (книжная лавка не считалась лавкой). Молодежь расшатывала и семейные устои (выходила из повиновения родителей, покидала семью, вступала в шокирующие любовные связи), некоторые опускались, спивались (пьянство было весьма распространено). У меня, мальчишки, сложилось впечатление о свободной, романтической, какой-то возвышенной настроенности молодежи начала века, что, конечно, отражало тот общий идейный подъем, который переживала наша страна в ожидании великих революционных событий.

Отец осуществил важное для Красного Холма дело: после долгих хлопот в 1901 году была открыта железнодорожная ветка к городу от станции Сонково (Московско-Виндаво-Рыбинской дороги, между городами Бежецк и Рыбинск). Когда после торжественной встречи на платформе первого поезда с железнодорожным начальством состоялся официальный обед в Городской думе, Леонид Александрович, как городской голова, в своем выступлении сказал, что «строителями железной дороги были не только инженеры, но и рабочие», и предложил поднять бокал за народ. До того ездили до «чугунки» на Бежецк (35 верст от Красного Холма по проселочному тракту), теперь поезд ходил один раз в день в составе четырех-пяти вагонов третьего класса и одного микст (купе второго и первого классов). Колеса сильно постукивали (я не помню, чтобы где-нибудь они так еще стучали), и этот звук заставлял приятно биться сердце: вы видите на горизонте краснохолмские соборы – скоро-скоро дом!

Было осуществлено еще одно нужное для города мероприятие. Как и в других маленьких городишках России, дома были по большей части деревянные и пожары часто уничтожали то одну, то другую улицу. Я помню эти пожары: море огня, небо заволочено черным дымом, весь город сбегается на жуткое, но красивое зрелище, кто-то стремится чем-нибудь помочь, другие просто наблюдают, лущат семечки и даже флиртуют с девицами. Город не имел пожарного депо. Усилиями городского головы было создано Добровольное пожарное общество. Многие уважаемые жители города вступили в него членами, должны были поставлять средства, участвовать в учениях, дежурствах по городу. Число пожаров значительно сократилось.

Можно указать еще на открытие Леонидом Александровичем женской прогимназии (которая позже, перед войной 1914 года, стала гимназией). До этого дети должны были отправляться в соседний Бежецк, в Тверь, Санкт-Петербург или в Москву. Отъезд по окончании каникул и приезд молодежи на каникулы были вообще очень заметными в жизни Красного Холма днями – не только для самой учащейся молодежи, но и для ее родителей и всего города. Я помню смешанное чувство – грусть расставания и радость ожидания независимой, самостоятельной жизни школьника без родительского глаза. Приезд же на каникулы – всегда радостная пора. В эти моменты мы особенно любили наш город. Школьникам и студен-

там выделяли особые вагоны. В них было весело, заводилась дружба, и вспыхивали первые искры любви.

Я помню смешанное чувство – грусть расставания и радость ожидания независимой, самостоятельной жизни школьника без родительского глаза

Впрочем, я отвлекся от деятельности отца. Но не писать же о строительстве мостов, введении керосино-калильных фонарей и тому подобных вещах, к которым приложил руку энергичный доктор?

Особенно же отец любил просветительные лекции (по биологии, медицине). Он читал их молодежи, учительницам, каким-то неопределенным юнцам, стекавшимся в амбулаторию смотреть парамеции и амебы под микроскопом.

Наибольшее внимание он уделял дарвинизму, а также учению о наследственности. В то время лекции по биологии имели популярность (под влиянием Писарева). В небольшом городке, жители которого традиционно верили в Бога, набожно крестились при виде церкви, читать об эволюции животного мира, о происхождении человека от приматов (обезьян) можно было только человеку большого общего авторитета. Читал Леонид Александрович отлично; казалось, он находит в этом выход тех своих склонностей, которым он сам не счел нужным дать ходу в свое время, когда перед ним открывалась профессорская карьера.

Мой отец был женат трижды. В первый раз он женился еще студентом в Москве – на Елене Криденер (племяннице барона Криденера, родственнице известного художника Перова; Перов написал с нее портрет маслом); это была красивая, совсем еще юная девушка; через год после замужества она умерла от туберкулеза, оставив сына Евгения. Второй раз отец женился на особе с высшим образованием Вере Ивановне Завельевой, детей у них не было; жена была с претензиями на светскую даму, завела выезд, занималась благотворительными пустяками. Через десять лет они расстались. Наконец, Леонид Александрович женился на будущей моей матери Зинаиде Константиновне Григорьевой.

Моя мать Зинаида Константиновна родилась в 1874 году в Санкт-Петербурге. Отец ее был сторожем Верхнего Петергофского парка, любил выпить; жену свою обижал; хозяйство вела старшая дочь Елена, она же воспитывала и младшую свою сестру Зинаиду. Каким-то образом Елене удалось устроить сестру в Кронштадтскую гимназию. После гимназии Зинаида Григорьева поступила на Рождественские медицинские курсы в Петербурге и окончила их, став «лекарской помощницей» (нечто среднее между фельдшерницей и врачом), после чего попала на службу в 1895 году в краснохолмскую больницу.

Приезд привлекательной двадцатилетней медички из Петербурга в Красный Холм был встречен с энтузиазмом – поднялась волна любительских спектаклей, музыкальных вечеров и т. п. Но молодая девушка оказалась слишком занятой организацией больничного дела, порядком запущенного, отказывалась кататься на лодке или являться на танцы; отвергла она также и полдюжины женихов (один из них в связи с этим даже пробовал застрелиться, но, и счастью, неудачно).

Вскоре, на почве больничных забот, она подружилась с доктором – городским головою, а в дальнейшем они поженились (после длительной истории с разводом с Верой Ивановной, потребовавшего разрешения Святейшего Синода). Естественно, Зинаида Константиновна сделалась прямой помощницей своему мужу по медицинской части. Правда, появившиеся вскоре дети стали все больше и больше занимать ее внимание, тем более что она оказалась исключительно преданной детям матерью.

она оказалась исключительно преданной детям матерью

Несмотря на горячую ее любовь к детям, постоянные заботы о них, превосходные условия, которыми она их окружила (отдельные комнаты, бонны, пичканье вкусной едой, страхи – не холодно ли, не простудился ли, не промочил ли ноги и т. п.) из пятерых детей трое умерли: одна, старшая Леля – в год моего рождения, от острой диспепсии, вторая Леля, моя подруга по ранней поре детства – от туберкулезного менингита и, наконец, младший брат Леник – также от милиарного туберкулеза (он был младший, веселый шестилетний мальчик, писал уже мне письма, каждое из которых почему-то заканчивалось словом «колец»). Такой трагический оборот в жизни семьи наложил тень грусти и пессимизма на мою мать, и хотя она продолжала быть деятельной, перенесенные утраты все же придали ей нервный, чувствительный характер и вместе с тем обострили привязанность к двум сыновьям, оставшимся в живых.

Смерть детей от туберкулеза в семье просвещенных медиков теперь кажется странной, но в то время это было обычным явлением. Тогда даже не было методов ранней диагностики туберкулам в виде рентгеноскопии, не говоря уже о стрептомицине, появившемся через несколько десятков лет. Я помню, как много чахоточных молодых девушек посещали амбулаторию моего отца; он назначал креозот, тиокол, рыбий жир; богатым можно было советовать ехать на Южный берег Крыма, бедные должны были лечиться сосновым воздухом в деревне. «Усиленное питание сливочным маслом» («для растворения восковидных капсул коховских палочек»), питье сливок (со столетником и медом или без оных) – все это не то, думал тогда мой отец, придет время и появится химиотерапия. Эх, если бы это химиотерапевтическое средство так ужасно не запаздывало! И дети были бы живы, и эти милые гаснущие девушки, а также эти, в общем, еще довольно крепкие мужчины, у которых вдруг пропадает голос – и они беззвучно сипят о чем-то своей туберкулезной гортанью... ведь все они умрут через год-полтора.

Отец очень уважал учение об иммунитете, ведь в студенческие годы он застал начало «бактериологической эры» медицины, и был твердо уверен, что в скором времени будут найдены средства, устраняющие любую инфекцию. А между тем в то время на этот счет многие иронизировали. Так, среди его учителей в университете еще был профессор-хирург, который заставлял санитаря стоять у операционного стола с полотенцем и отгонять от раны «этих самых мукроров», и только Склифосовский в Москве впервые стал последовательно применять правила антисептики и асептики.

Отец читал работы Пастера, Листера, Коха, Эрлиха, Беринга, Мечникова и вывесил их портреты в своем кабинете. Он был убежден в том, что скоро найдут химиотерапевтическое средство против туберкулеза, а еще раньше – прививки против него. «А не думаете ли вы, – спрашивал гостивший у нас проездом известный врач-гигиенист Д. И. Жбанков, – что дело не в средстве и не в прививках, а в условиях жизни?» Отец мой не отрицал значения социальных условий в распространении туберкулеза (скверных, скученных жилищ, темных и сырых рабочих помещений, недоедания). «Ну, а мои дети? – думал он. – Ведь они жили в отличных условиях». Возможно, случайное заражение и наследственность. Вместе с матерью они откапывали наследственные корни в отношении туберкулеза. Ничего – за исключением какого-то Филиппа, брата матери, которого она никогда не видела в глаза. Филипп был капитан дальнего плавания, будто бы заболел туберкулезом в южных тропических морях и где-то там умер (стоило столько молиться «за плавающих и путешествующих», как нас заставляла нянька на сон грядущий, напоминая об абстрактном дяде Филе).

Вообще говоря, отец мой, как и большинство врачей начала века, следовал взглядам А. А. Остроумова и его учению о наследственности и среде. Во время своих поездок в Москву он всякий раз посещал клинику замечательного клинициста на Девичьем поле (ту самую, которой последние двенадцать лет я имею честь руководить). Был ли он лично знаком с профессором, не знаю (отец был, как он сам себя шутливо называл, немного «пошехонцем»). Еще более созвучны были его земские взгляды с известным сочинением «Гибнущие деревни» А. И. Шингарева⁴ (члена Государственной думы, по образованию врача). С восторгом Леонид Александрович отзывался также о чеховских «Палате № 6» и «Путешествии на Сахалин». Обычно он участвовал в Пироговских съездах врачей (которые носили характер общих научных съездов врачей всех специальностей, но с уклоном в сторону санитарно-гигиенических, эпидемиологических, социально-медицинских вопросов). На последнем съезде в Тифлисе он выступал по общим вопросам, и тифлисские газеты напечатали очень теплое обращение группы врачей в его адрес («Привет Л. А. Мясникову»).

Зимой в Красном Холме было уютно: на улице – глубокие сугробы снега, под тяжестью которого, казалось, покосились крыши; мороз украсил ставни фантастическим узором, деревья стоят в торжественных оковах инея. Мы ходили кататься на коньках на реку Неледину; иногда катанье происходило под звуки духового оркестра; тут – лучшее место для взрослых по части флирта или для начала романа, как это вытекало из проницательных наблюдений нас, мальчишек (пусть маленьких, но видно же!). А нам, конечно, наплевать – катаемся, и все, ябедничать или сплетничать не станем. А дома – жарко натопленная лежанка в детской, дворник дядя Павел принесет еще охапку березовых дров, а завтра он нас покатает на Серко. Вот скоро наступит Масленица, тогда уж покатаемся как следует! Все выедут; сани украшены коврами, лошади завиты в ленты, целые дни будет стоять звон бубенцов и веселый хохот. Тут уж пойдет блинный психоз. Блины, блины – у всех блины, с икрой, семгой, балыком и водка для взрослых и прочие бутылки с вином, иногда, действительно, довольно вкусным (мне, например, нравилась запеканка или немножко рябиновой наливки – грузинские сухие вина стали нравиться позже, только по ходу профессорской карьеры). Сколько можно съесть блинов за один присест? В известном чеховском рассказе сообщается о том, как человек, евший блины, умер (но неясно, от блина ли или просто смерть подоспела). В лекциях Боткина блины фигурируют как этиологический фактор желтухи («бродила», введенные с массой теста). В Красном Холме в те годы один лабазник на Масленице съел подряд двенадцать блинов, а на тринадцатом умер; но говорили, что, возможно, в этом случае причина – не блины, как таковые, а то, что это был тринадцатый блин, цифра несчастливая. Судьба!

Все-таки более приятны, романтичны другие дни, рождественские праздники. Мы еле могли дожидаться Сочельника. Залитая огнями нарядная елка и веселье хороводов и игр! Впрочем, все это быстро надоедало – и на очередные «елки» у знакомых ходить уже не хотелось. Совсем как в стихотворении Глинки⁵, которое любил повторять мой отец:

Странная вещь, непонятная вещь,
Отчего человек так мятежен...
Получил, что желал, —
И задумчив уж стал, —
Да чего же еще он желает.

⁴ Шингарев Андрей Иванович (1869–1918) – земский, общественный, политический и государственный деятель, специалист в области государственного хозяйства и бюджета от либеральной общественности, врач общей практики, публицист.

⁵ Глинка Федор Николаевич (1786–1880) – русский поэт, публицист, прозаик, офицер, участник декабристских обществ.

Но – дух стяжательства! – рождественские подарки – это, действительно, нечто. Вот тебе и вся романтика! И все же проснешься «в ночь перед Рождеством» – еще чуть брезжит синева рассвета, и ощупываешь на кровати, на столике и стульях дары балованным детям. Как хорошо! Какое чудное утро! Как сверкает утренний снег! Вот жизнь... И побежишь, ступая по полу босыми ногами, в комнату матери.

Как хорошо! Какое чудное утро! Как сверкает утренний снег! Вот жизнь...

Но всего больше мы любили дни Пасхи. Весенний праздник! Уже наступают светлосиние блики марта. Красивы эти голубые тени голых деревьев на снежном насте, эти сверкающие на солнце в небесной синеве робкие лужицы, ночью сковываемые чистеньким льдом, а днем дающие начало талым ручьям! Особенно же милы целомудренные березы с их беспомощными веточками, тонкая сеть которых как бы упоена весенним солнечным воздухом. Да, это всегда ощущается как возрождение – даже в наши старые годы. И всегда думаешь: как хорошо, что опять ощущаешь эту радость жизни – сколько раз еще этому суждено повториться? Впрочем, хорошо, что ты этого не знаешь.

Пасха бывает ранней и поздней. Я всегда любил раннюю. Распутица. Лужи. Утренние заморозки. Грачи прилетели. Земля, освобождающаяся от снега. Разливы рек, сбрасывающих оковы льда. Ледоход как символ свободы и бурного движения вперед... и т. д. и т. п.

Эх, милое детство, Красный Холм! Сквозь пелену времени я различаю обрывки первых восприятий. Это ощущение присутствия обоих родителей.

С няньками я дрался, и до сих пор у меня на голове маленький шрам – бежал с кулаками за Грушей (девушкой, которая навсегда сохранила с нашей семьей дружескую связь – уже будучи замужем, а потом бабушкой): она тогда легонько толкнула меня, я упал, ушибся о камень, и под аккомпанемент криков «убился, убился» меня потащили в перевязочную, где отец, приведя меня в чувство, зашил на голове рану. Но старая Лизавета Ферापонтъевна (об одном глазе) умиротворяла меня замечательными сказками. Вот ведь как это явление, пушкинские Арины Родионовны, характерно для русской жизни!

Потом пошли фрейлейн из Риги или Пернова – хорошенькие немки, одна из которых нашла себе в мужья краснохолмского учителя. Мы выучились болтать по-немецки (к сожалению, потом, когда язык стал нужнее, познания наши частично стерлись из памяти). Отец также учил язык, твердил, едучи в тарантасе (к какому-нибудь больному или в «усадьбу») и захватив меня с собою, шиллеровские «Heute muss die Glocke werden»⁶ или гётевские «Wer reitet so spat durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind»⁷, и шутиливо говорил, что за каждое выученное слово на том свете ему проститься какой-либо грех. Я спрашивал, много ли у него грехов? Он становился серьезным и заявлял: «Грех – такая жизнь, которую мы ведем при общем жалком состоянии народа».

Я отца слушался, притом совершенно автоматически, от одного его присутствия или его доброго взгляда. А на мать раз бросился разъяренный. Она, видите ли, однажды вечером ушла куда-то в гости, на костюмированный бал. Я не мог уснуть; когда она вернулась и услышала, что я не сплю, ей пришла фантазия показаться мне в маске (матери было тогда 30 лет). При виде ее я испугался, заревел и накинулся с криком: «Зачем ты меня напугала! И вообще, почему ты уходишь куда-то?!» Так рано проявились во мне черты «тиранства», по крайней мере в отношении любимых мною, а особенно любящих меня людей. Дразнил я и

⁶ «Песнь о колоколе» (1799).

⁷ Баллада «Лесной царь» (1782).

одну из фрейлейн, распевая: «Месяц пыл, Лайба плыл, а я очень рада был» и какую-нибудь иную чепуху, а фрейлейн Эльза грустно садилась за рояль и наигрывала «Am Strande», восклицая «Ach, meine schöne Riga! Ach, meine liebe Riga».

Девчонок, в том числе своих двоюродных сестер, я тогда еще не признавал, мы водились с мальчиками. Приятели появились, как только меня определили в школу (городское училище). Я научился читать еще пяти лет дома (как будто, насколько помню, по заглавиям газет и журналов – «Русские ведомости», «Русское слово», «Речь», «Нива» – и по детским книжкам с картинками).

В училище наука шла мимо, да я и знал больше того, что преподавали

В училище наука шла мимо, да я и знал больше того, что преподавали. Зато завелись приятели и неприятели. Мы устраивали целые войны между одной и соседней улицами, между смежными кварталами и т. п. Мальчишки Ширшиковы были исконными врагами. Дрались на рогатках, но как будто все же не попадали друг другу в физиономию. Борьба врукопашную была эффективнее, и наши тела периодически разукрашивали синяки.

Иногда внезапно наступал мир, и длинными весенне-летними светлыми вечерами обе стороны играли в лапту. Зимой возобновлялись сражения в снежки – в них принимали участие и девицы. Нам нравилось нападать именно на них, вlepлять им в голубые глаза или в пунцовые губы ком снега или насыпать снега за русые косы, за шею, туда поглубже. После этого перед сном я живо видел перед собою какую-нибудь раскрасневшуюся девочку и повторял неизвестно от кого услышанную фразу: «Так прекрасен женский взгляд».

Красный Холм, городок с 3 тысячами жителей, расположен на широком холму на берегу речки Неледины, впадающей в верстах трех от нас в реку Могочу (приток Мологи, которая, в свою очередь, впадает в Волгу у Рыбинска). У места впадения рек стоит старинный мужской Антониев монастырь.

Судя по случайным находкам (брали песок для строительства моста), холм был обитам с доисторических времен. Найдены были каменные топоры или молоты, сделанные из доломитовой породы или серого гранита. Очевидно, здесь была стоянка людей каменного века. Можно думать, что в те отдаленнейшие от нас времена люди, поселившиеся на холме при речке Неледине, могли хорошо промыслять зверя в окружавших этот холм лесах и речным путем выбираться на широкую водную дорогу – Волгу. В то же время их стоянка была в укромном месте, вдали от больших дорог, на которых обычно было небезопасно. В более позднее время местность довольно густо заселялась и к концу XV века, когда был основан Краснохолмский Антониев монастырь, она была уже покрыта селами и деревнями, часть которых вошла в состав монастырских вотчин. Эта местность причислялась к Бежецкой пятине Новгородской области. Позже, в княжение Василия Темного, сюда прибыл поступивший на службу к московскому царю знатный литовский вельможа Станислав Мелецкий; он принял православие. К внуку этого боярина Афанасию Нелединскому-Мелецкому пришел из белозерских монастырей старец преподобный Антоний, и в 1461 году был заложен монастырь, который быстро стал обогащаться вкладами и землями. Около 1500 года сын великого князя Ивана Симеон пожаловал монастырю находящееся рядом село Преображения Спасова да Животворные Троицы на холму с 29 деревнями. Это было первое упоминание, занесенное в историю, о селе Спасе на Холму, ныне Красный Холм. В конце XVIII века от Новгородской губернии отделились Тверское наместничество (позже губерния), и Красный Холм был переименован из села в уездный город (год 1776, января 16 – именным указ, данный Сенату). К Краснохолмскому уезду отошла почти половина жителей Бежецкого уезда

(25 тысяч душ); город получил свой герб: на верхней половине щита по красному полю изображен стол с лежащей на ней короной, на нижней по голубому полю изображен холм. Как уездный город Красный Холм числился лишь двадцать лет. В 1797 году он стал заштатным. Едва ли, впрочем, это существенно отразилось на развитии города, так как он стоял до последнего времени впереди захолустного «уезда» Весьегонска (как по торговле, так и по числу жителей и культурным условиям).

Краснохолмские жители, как и жители других небольших городов тогдашней России, состояли преимущественно из мещан, торговцев, а также крестьян, имевших под городом поля, небольшого количества различных ремесленников и всякого рода служащих – как в «казенных» заведениях, так и в частных предприятиях. Рабочие были лишь при железнодорожной станции; кроме того, было немало сезонных рабочих на стройках. Строился город активно: возводилось немало каменных частных домов, каменные торговые ряды, учебные заведения (в период моего детства их было шесть, в том числе женская гимназия и духовное училище, городское мужское училище, женское начальное училище, приходское училище, земское (начальное) училище). Был театр, народный дом, клуб, Городская дума, городской общественный банк, нотариальная контора, больница, аптека, почтово-телеграфная контора. Несколько хороших магазинов современного типа давали возможность населению города и окрестных сел и деревень покупать, в сущности, все то, что продавалось в центральных городах и столицах: можно было купить английское сукно, ткани из Лодзи, Варшавы, Твери, Петербурга, Москвы, зингеровские швейные машинки, граммофоны. Выписывалось много журналов, особенно «Нива» с приложениями, дававшая возможность горожанам из года в год получать за сравнительно небольшие деньги «полные собрания сочинений» выдающихся русских и иностранных писателей; дети и юноши любили выписывать «Вокруг света» или «Природа и люди» – замечательные журналы, дававшие молодым читателям знаний больше, нежели школа, а их приложения Жюль Верна, Майн Рида, Фенимора Купера, Луи Буссенара, Луи Жаколио, Марка Твена мы все с упоением читали, как только научились сколько-нибудь быстро разбирать мелкий шрифт. Чудесные приключения, захватывающие сюжеты, героические персонажи, новые для нас страны, моря, народы, девственные леса входили в нас легко и заманчиво и питали собою наш внутренний мир и наши мозги.

В гастрономических магазинах были такие деликатесы, как балык, икра, апельсины, персики, даже ананасы

В гастрономических магазинах были такие деликатесы, как балык, икра, апельсины, персики, даже ананасы. Не помню, откуда привозились виноградные вина, но помню, что можно было достать французские коньяки и шампанское.

Но, разумеется, все это для богатых. Обычно же торговали ситцем, бумазеей, грубым сукном, белой мукой, крупами, сахаром (в особых лабазах), сельскохозяйственным инвентарем – плугами, косами, позже стали продавать усовершенствованные машины – косилки или молотилки. Красный Холм имел крупную оптовую торговлю двумя продуктами: льном и кожами. Лен в деревнях был преимущественной сельскохозяйственной культурой. По льну Красный Холм был впереди многих районов Тверской и Псковской губерний. Торговцы льном были наиболее богатыми купцами. Лен, как известно, весьма трудоемкая культура: он созревает поздно к осени, его щиплют, расстилают по лугам, где его мочит дождь и он вянет, его еще основательно мочат в воде, сушат и теребят волокна. До того как лен убирают с полей, направляют на «толчею», где давят головки и получают льняное семя, а потом – льняное масло. Мы любили льняные поля в начале лета за их изумрудный, свежий колорит и голубые цветики.

Кожевенные изделия были у нас грубоватыми, но кожа вывозилась в большом количестве. Даже странным казалось, что из той же нашей кожи, из которой местные ремесленники шьют грубые личные сапоги и некрасивые «полусапожки», где-то там на фабриках в столице или даже за границей выделялись щегольские ботинки, на образцы которых можно было полюбоваться (а то и их купить) в магазине у Александра Сергеевича Суслова, культурного старика, почитавшего поэзию Пушкина, любителя-садовода, в саду которого весной расцветали нарциссы и гиацинты из луковиц, выписанных из Голландии.

В старых «рядах» находились многочисленные склады, в которых держали кожи, и противный запах заставлял нас, школьников, обходить их. В других «рядах» складывались пакля, веревки, бочки или мешки с солью. За городом устраивали склады бревен и досок (у лесопилки), кирпичей (у кирпичных заводов), ржаной муки (поблизости с мельницей, в дальнейшем механизированной, построенной за несколько лет до первой войны).

Колоритны были наши базары. Они проходили в базарные дни – вторник, пятницу и воскресенье. Весь город был запружен телегами (или зимой – саними) и возами. Сколько навоза оставалось на улицах к концу дня, смешиваясь с пылью или снегом! В летние жаркие, сухие дни запах навоза базарных дней можно было чувствовать даже за несколько верст от города. На площади около Троицына собора – море людей, повозок, стоек, ларьков. Особенно картинны были базары в августе – в Преображение (6 августа старого стиля) и Успение (15 августа старого стиля): горы яблок, возы огурцов, корзины малины, крыжовника, смородины, лукошки белых грибов и рыжиков, мешки с ранним картофелем, морковью, репой, сметана, топленое («русское») масло, обычно жидкое от жары, куры, яйца; груды мясных туш, на которых устремлялась туча мух (забота санитарного врача и объект штрафов), грабли, кадки, льняное полотно. Мелкие торговки продавали бабам и мужикам катушки ниток, иголки, гребни, пуговицы, липкие сласти – а рядом в «казенке» крестьяне пропивали выручку, выходили, налившись, шаткой походкой, или их вытаскивали жены и укладывали в телеги; женщины с визгливой бранью решительно брались за вожжи и гнали подводу домой, нахлестывая лошадь.

Я помню аллеи из высоких возов ароматного свежего сена. Если палило солнце, мы бегом спешили через этот людской и пыльный базар к реке Неледине, к Большой Криулине, купаться.

Лучше всего идти к реке мимо соборов на холме и спускаться через огороды. Краснохолмские соборы – наша гордость. Не то чтобы по причине нашей религиозности. Да, горожане любят ходить в церковь, но, отправляя обряды, зажигая свечи и крестясь, они обычно думают о своем; торжественная обстановка и сладкое пение церковного хора, благолепие сводов, иконопись и традиционное с детства стремление к вечному и доброму – все это настраивает во время церковной службы на серьезный и мечтательный лад. Взрослые думают о любви, о своем успехе, в чем бы он ни проявлялся (в торговле, в пациентах, в делах на службе), а мы, школьники, думаем о том, как мы поедем в тропики по следам индейцев, полетим на Марс и посмотрим, есть ли на нем люди и похожи ли они на тех, которые описал Уэллс... и о девчонках тоже, между прочим. Колька Морозов, конечно, думает об отметках, он, поди, даже вымаливает пятерки у Божией Матери (он первый ученик и зубрила). Вытчиков наверняка перебирает в памяти свои марки – и он признавался, что если есть Бог, то, по его мнению, тот должен же, в конце концов, сделать так, чтобы ему привезли, наконец, марки каких-то там французских колоний (не то Судана, не то Гваделупы). Словом, каждый в церкви думает о себе. Ведь и попы думают, сколько им принесет со свечек или с кружки сегодняшняя служба. Вот только старушки, ну и некоторые старички подрыхлее, пожалуй, истинно поглощены молитвой и Богом, а главное – те люди, и молодые в том числе, у которых на душе какое-то горе, несчастье. Право, Бог и вера нужны несчастным, счастливым и так хорошо.

Наука, биология, отрицает Адама и Еву и сатану. Тут какие-то враки. Ерунда!

Тем не менее ходить в церковь приятно было и атеистам. К тому же ведь никто не знает, что будет с нами после смерти. Мы превратимся в прах, ничто, уснем – как засыпаем на ночь, но без снов и навсегда. Черви съедят мертвое тело, это, вероятно, противно и страшно, впрочем, мы не будем ничего ощущать – но как же так? А душа? Впрочем, души нет. То есть есть душа у живых, а умрешь – ее нет («испустил дух»). Конечно, хорошо бы пожить еще после смерти в Царстве Небесном – в раю. Религия действовала на взрослых простых людей и даже на философствующих школьников своим тезисом бессмертия. Рок смерти инстинктивно страшил всех даже с детства, и, казалось, должен же быть какой-то выход. Но это были шаткие надежды. Просто все враки, думалось в конце концов, где бы все люди или их так называемые души на небе уместились бы, да и ничего там нет, кроме бесконечного эфира, а звезды – это раскаленные солнца или мертвые остывающие планеты (мы уже читали Флам-мариона⁸).

Краснохолмские соборы были красивы. «Были» потому, что в настоящее время они почти разрушены. Самый старый собор – Преображения. Сперва на том же месте была небольшая деревянная церковь, выстроенная при Иване III. В царствование Ивана Грозного, по-видимому, та же церковь упоминается с описаниями деисуса (то есть иконостаса в несколько ярусов икон). 7 пядей – 15 икон, да икона Преображение на золоте же семи же пядей (пядь – единица измерения), да и икона Пречистые... – локотница (тоже единица измерения) на золоте, по полям писаны святители и мученики. Да книга Евангелие... на харатье (на пергаменте): евангелисты серебряные» (цит. по книге «Г. Красный Холм и его соборы». Л. К. Крылов, издание Тверской ученой архивной комиссии, 1913 г.). Вероятно, позже этот деревянный храм разрушился, и воздвигались новые. Каменный Преображенский собор, в том виде, как я его застал, был открыт в 1713 году; он небольших размеров, архитектуры Петровской эпохи. Как единственная глава храма, так и купол колокольни окрашены были голубой краской и усыпаны крупными золотыми звездами; золотой шпиль колокольни и весь облик собора производили незабываемое впечатление своим изяществом и благородным вкусом.

Краснохолмские соборы были красивы. «Были» потому, что в настоящее время они почти разрушены

Другой собор – Троицкий. Еще в 1575 году на холме была, кроме Преображенской, церковь Живоначальной Троицы, она была сожжена во времена литовского разорения, охватившего многие окрестные села. В 30–40-х годах прошлого столетия на другом месте был сооружен громадный собор, доживший до революции. В него-то мы и ходили молиться Богу. Это было очень теплое здание, состоявшее из главного храма, увенчанного пятью главами с приделами, и длинной трапезной церкви; к ней примыкала грандиозная четырехъярусная колокольня (колокольня была видна за 15–20 верст от города).

В этом соборе находилась замечательная древняя икона «Живоносный источник» (Богородица, окруженная семью фигурами святых); к сожалению, она была одета в серебряную ризу; в икону вделан был серебряный крест XV или начала XVI века. На колокольне висели колокола изумительно приятного тембра.

Третий – Владимирский – собор был сооружен в одной ограде с Преображенским в конце прошлого столетия; это высокое и обширное здание, светлое, с отличной стеной росписью и богатым орнаментом (выполненными московскими художниками Поля-

⁸ Фламарион Камиль (1842–1925) – французский астроном, известный популяризатор астрономии.

ковым и Клецовым, мотивы были взяты из картин Нестерова, В. Васнецова, Бронникова, Котарбинского и др.). Достопримечательностью собора служили его резные из липового дерева иконостасы и киоты – которые строитель собора (вернее, купец и церковный староста И. И. Камкин, по инициативе и под наблюдением которого, и на его средства, производилось украшение нового собора) запретил красить и золотить, что придало им особенно приятный и оригинальный вид. Резную работу с замечательным искусством производил крестьянин Кашинского уезда Степан Кузьмин с сыном (в течение четырех лет).

Красавец Краснохолмский Антониев монастырь раньше был одним из известных и богатых на северо-западе нашей страны. При нас монастырь уже находился в бедности. Прекрасные храмы за величественной оградой с башнями, таинственные переходы, арки, подземные спуски к омывающей монастырь реке – все это говорило о былом величии и находилось в контрасте с темными монахами в рваных сапогах и грязных подрясниках, грызшими баранки или лущившими семечки. Говорят, что и настоятель выдался какой-то пьяница, а до него был таинственный не то политический преступник, бежавший с каторги, не то дворянин-отщепенец, убивший свою любовницу. Земли монастырские давно отошли крестьянам или краснохолмцам, городские церкви вобрали в себя всю религиозность населения, а монастырь пустел и нищал.

Страстная неделя была вся в посещении церкви. Мой отец не был ортодоксальным верующим, он, пожалуй, верил «в неведомого бога», а не в церковного Бога-отца, Бога-сына и Бога – Духа Святого. Но традиции религии, ее историческое и философско-этическое значение он признавал. Он ссылаясь на Дарвина, более других научно обосновавшего атеизм, но сохранившего в себе религиозное начало. Отец мой иногда ходил по воскресеньям в церковь на раннюю обедню и меня брал в компанию. До сих пор я ощущаю в себе воспоминания об этих утрах, когда дом еще спит, а мы под малиновый звон колоколов отправляемся постоять на паперти – а потом идем к бабушке, Анастасии Сергеевне, и она нас потчует крепким чаем с церковным вином (кагором) и просвирами из тугого ароматного теста из крупчатки; впрочем, можно было выпить кофе со сливками «по-варшавски» с пышными «лепешками» (оладьями) с медом или вареньем. Дома между тем ждет нас мама, у нас также все очень вкусно, например чудесные творожные сочники.

Великий четверг, 12 евангелий, в пятницу – вынос плащаницы со знаменитыми напевами «Елицы во Христа крестистесь», Великую субботу – сперва немного скучное чтение паремии, прерываемое чудесными напевами «Воскресни, Боже!», и далее строгая, торжественная обедня «Да молчит всякая плоть человека». Что ни говори, а здорово все это тогда выходило, всех нас занимало как что-то жизненно важное и, конечно, удивительно возвышенное и праздничное.

В начале Страстной недели мы исповедовались и причащались (говели мы весьма, так сказать, либерально). Меня долгое время оставлял совершенно безучастным вопрос: «Не скотоложствовал ли ты?» Я не понимал этого странного вопроса, но отвечал: «Не скотоложствовал». А потом как-то вдруг подумал: что это, собственно, должно обозначать? Один из приятелей пояснил мне: поп спрашивал, не лежал ли ты с животным. Так что ж, это я ему наврал, подумал я, конечно же, лежал: я часто беру в кровать Играйку, собачку; мама возражает, но та сама прыгает, потом ее, конечно, выгонят. Да нет, сказал мальчишка, это у них в другом смысле, что-то такое неприличное. И мы оба, не поняв все-таки, как-то почуяли себя сконфуженными и густо покраснели. Потом я стал вспоминать и другие места, не понятные первое время. «Не пожелай жены ближнего твоего», «Не прелюбы сотвори». Э! Да это о любовниках, не иначе – это то, что творится на катке или на балах во время танцев. Знаем мы, знаем, так чем же это все так неприятно? По нашим наблюдениям, любовь – это то, к чему стремятся все мужчины и женщины. Следовательно, нехорошо любить только чужую жену? Чем же? Тем, что она принадлежит другому? А что значит «принадлежать»? Отсюда –

рукой подать до выяснения тайны полов, что и произошло, конечно, в теории, уже в первых классах начальной школы (отчасти под влиянием церковных заповедей и исповедания).

Радостны и прямо веселы напевы пасхальной заутрени. Хорошо потом христосоваться с «нею» (она всегда одна, хотя и разная) – законное право расцеловаться; вкусна творожная пасха, от куличей скоро начинает появляться тяжесть под ложечкой. А главное – славно забраться на одну из наших колоколен и звонить, звонить... Так как не все умеют звонить гармонично, но все могут забраться на колокольню и звонить, как кому хочется – целую неделю над Красным Холмом стоит колокольная симфония, сложная в своей простоте и хаотичности, но в сочетании с праздничным настроением и весенним солнцем чем-то ужасно приятная (я иногда вспоминаю ее, слушая современную музыку).

Из церковных дел на нас, ребят, производили впечатление так называемые крестные ходы. Крестный ход в пасхальную заутреню был особенно ценен нами: горели яркие плошки вокруг собора, звонили колокола, сверкающие огни свечей и факелов, веселые песнопения, а главное – теплынь, весна. Другой крестный ход совершался 26 августа старого стиля – это был местный обычай (утвержденный духовной консисторией), установленный по случаю «избавления г. Красного Холма от холеры, бывшей здесь в 1748 году и 1853–1855 годах»: ходили по улицам с иконой Владимирской Божией Матери, а то и заносили ее в богатые дома. Мы, мальчишки, бегали вокруг иконы и смеялись, как это удастся таким образом обмануть холеру.

Радостны и прямо веселы напевы пасхальной заутрени

Колокольня служила местом наблюдения за пожарами, и там был водружен «ревун», истошный рев которого сразу взбудораживал город, а потом уже раздавался набат. Ревун сигнализировал, главным образом, о пожарах в окрестных деревнях, а набат – в самом городе.

Кладбище было пряно-сырым, заросшим, тенистым, укромным местом, куда няньки водили нас гулять (бонны почему-то боялись). Похороны всегда вызывали у нас сосущий страх и безотчетное уныние с примесью жалости себя и других. Церковные похороны (отпевание, погребение) – самое неприятное воспоминание (и так хорошо, что оно теперь замесилось более или менее бодрой гражданской процедурой). У меня вставляли всегда картины из «Страшной мести» и «Вия» Гоголя, – впрочем, теней или видений покойников мы не боялись или делали вид, что не боимся.

В Красном Холме в начале века сложился немалый круг местной интеллигенции. Заведующий больницей – доктор В. И. Семенович, другой врач – Крылов, часто, правда, пьяный и склонный неприлично ругаться, но ловкий и смелый хирург, считавший себя не ниже известного тверского хирурга Успенского (труды которого по язве желудка были опубликованы позже). Крылов, между прочим, был склонен к иронии в адрес лечения язвенных больных консервативным путем, практиковавшимся моим отцом (Extr. Belladonnae по 0,015 с Natr. bicarbonic по 1 гр. – 4 раза в день перед едой, высыпать в стакан, заваривать в теплой воде и пить глотками, как чай пьют; притом кислого, соленого, острого не есть, кваса, пива, водки не употреблять и т. п.). Доктор каждого язвенного больного оперировал, о дальнейшей судьбе предпочитая не осведомляться; да и то сказать, какая там диета в деревне и при недостатках! Приехали из Петербурга еще женщины – врач Ксения Ивановна Тхоржевская, очень недурненькая с виду и умница. С нею поселилась в городе и ее мать, Александра Александровна, окончившая в свое время консерваторию, прекрасная музыкантша. Александра Александровна вышла замуж за тифлисского адвоката И. Ф. Тхоржевского; они вместе занимались литературой и, в частности, переводами стихов (наиболее известны их

переводы Беранже). Эта замечательная дама покорила краснохолмцев не только своей игрой Шопена и Бетховена, но и блеском ума, необычайной живостью и добротой.

Брат моего отца, Сергей Александрович, женился на Любове Николаевне, урожденной Мартыановой (дворянке по происхождению). У этой очаровательной молодой дамы был очень красивый голос, меццо-сопрано (позже она сделалась солисткой Большого театра в Москве). Ее брат, Александр Николаевич, адвокат, считал себя эсером левого направления, увлекался поэзией Уитмена и Верхарна. Он был пламенный спорщик и предрекал скорую революционную грозу, «которая убьет нас – и за дело». Заведующий книжной лавкой Евгений Иванович Панов был талантливым артистом-самоучкой и режиссером краснохолмских спектаклей. Позже, после Октябрьской революции, в пору арестов и расстрелов купцов и заложников, он, при всей своей «революционности», не мог выдержать напор истории, забрался на колокольню Краснохолмского собора и бросился с нее. Один из молодых купеческих сынов – М. В. Бородавкин решил порвать со своей средой, женился на простой женщине, был проклят своей матерью (Галунихой) и поступил в Московскую консерваторию; учился у Додонова; тенор был красив, особенно в «Вертере» («О, не буди меня дыханием весны») и в арии Надира («В сиянии ночи лунной»), но слабоват. Галуниха умерла, и артист вернулся домой, участвуя в концертах под громкими афишами. И были бесконечные учительницы – городские и из соседних деревень: Бортницы, Дымкина, Лаптева и т. п.

В. И. Семенович и мой отец были долгое время большими друзьями, потом между ними пробежала какая-то кошка, и они перестали ходить друг к другу в гости, а встречались лишь на вечерах или заседаниях (впрочем, ссоры в явной форме не было). Жена доктора Вера Константиновна нам всем казалась необычайно умной особой, она отлично владела даром слова и живой иронией. У них было много детей, моих сверстников; родители – в полную противоположность нашим – никакого внимания на детей не обращали, дети ходили оборванцами, часть их умерла, оставшиеся в живых стали очень дельными, славными людьми. Сейчас Вера Константиновна, 85 лет, живет в Геленджике, окруженная внуками и правнуками; она сохранила ясную, прямо протокольную память.

Замечательны были краснохолмские сады. У всех жителей были тщательно отгороженные палисадники с цветником, а сзади дома – огороды. У более богатых сады были полны душистых цветов – левкоев, гвоздики, резеды, астр, а некоторые вели соревнования в выписке и культивировании роз. Яблоневые деревья приносили обильные плоды (антоновка, боровинка, белый налив, полумирон, княжеский стол, апорт). Особенно же приятны были летние сорта – грушевка и коробовка. Вишни и груши, напротив, росли неважно. Ягоды и овощи выращивали почти все. Тогда росла обычно душистая и деликатная клубника, и только позже ее стала вытеснять пузатая кисловатая виктория, желто-красная и обильная.

Улицы, покрытые булыжником, создавали стук проезжавших колес, слышимый на соседних улицах; немощенные же улицы покрывались летом глубокой пылью, осенью – грязью, и все надевали сапоги с голенищами. Тротуары были из досок – довольно симпатичные мостки, по которым щеголяли каблучки наших молодых женщин (тогда уже появилась мода на французские каблучки). Платья носили с высокими талиями и длинными юбками.

Замечательны были краснохолмские сады

По вечерам в летние дни катались на лодках по реке Неледине. Эта красивая речка в зеленых берегах и спокойной зеркальной гладью тогда была многоводна (у деревни Бортницы на мельнице стояла плотина), а теперь это грязный мутный ручей, орошающий облезлые берега (плотины давно нет, деревья по берегам давно все вырублены или сломаны). Теперь в городе, кстати, не осталось садов; нет почему-то не только яблонь, но и лип.

Городской сад с тенистыми аллеями на берегу Неледины тоже давно снесен, на этом месте – пустырь и крапива (вообще крапива охотно вырастала у нас повсюду и раньше, но ее тогда уничтожали). Впрочем, появилось много нового и полезного: расширилась больница, открыты общественные столовые, клубы, новые школы, мастерские, типография (в нашем бывшем доме), издающая газету. Словом, жизнь продолжается в новом, современном направлении – и да здравствует она!

Вся прелесть прошлого в том, что оно прошло.

2. Гимназия. Кавказ. Война

В Красном Холме не было мужского среднего учебного заведения, и меня определили в соседний Бежецк, в реальное училище.

Бежецк был город побольше Красного Холма, но того же типа. На каждом перекрестке улиц стояли церкви. По реке шли сплавы леса и небольшие пароходики. Были какие-то промысловые заводы, была оживленная железнодорожная станция с большим депо и мастерскими, с клубом для рабочих и служащих.

Я поселился на Большой улице, проходившей вдоль города, в небольшом уютном доме доктора Н. А. Костяницина. Доктор был полный блондин, приветливый, получал по почте много книг и журналов. Он работал в городской больнице, а по вечерам к нему приходили больные, с которых он брал по рублю. Его жена, Варвара Алексеевна, приятная дама, любила хорошо одеваться, читать стихи, участвовать в спектаклях, играть на рояле вальсы Штрауса. У них жил дед, отец Николая Алексеевича, который недавно перенес инсульт и все лежал за ширмами в той самой комнате, куда меня поселили.

Через год, впрочем, моя мать, не в состоянии выносить разлуки с сыном, переселилась из Красного Холма в Бежецк, захватив и других детей, и таким образом семья стала жить на два дома – тем более что и отец, став после поездки за границу специалистом-офтальмологом, назначил по определенным дням недели прием глазных больных в бежецкой больнице. Мы сняли квартиру в доме Нечаева на той же улице, напротив площади, по которой широко расположилась чудной старинной архитектуры Рождественская церковь. Я ходил мимо этой церкви в реальное училище или к учительнице музыки, Евгении Павловне Нурок, жившей на той же площади.

Занятий в реальном училище я не любил

Занятий в реальном училище я не любил. По арифметике мне не давались задачи с бассейнами или с поездами, вышедшими из разных станций во встречных направлениях. Геометрия была нагляднее («Пифагоровы штаны на все стороны равны»); не любил я и персонально нашего математика (да и вообще все мы).

По длинным доскам коридора,
Лишь девять пробьет на часах,
Учитель наш Твердин несется,
Несется на тощих ногах.

Не любили мы и уроков по закону Божьему. Холеному елейному попу – учителю задавали каверзные вопросы (где помещаются души умерших? Если это понимать образно, значит, это миф, если буквально – должно же быть их местопребывание? На звездах? Но это – раскаленные солнца или мертвые остывшие планеты, в мировом эфире – страшный холод. Где это небо? В переносном смысле – значит, просто обман. И ад где, где конкретно? Как сказка, как легенда – это очень мило, но не в век авиации и астрономии. И т. д.). Учителя словесности терпели за его стремление научить нас грамотно писать и выражаться, все сознавали необходимость этого в жизни. Была очень милая учительница французского языка. Она улыбалась, картавила и душилась. Один из школьников, которому француженка поставила накануне единицу, однажды перед ее приходом воткнул иголку в сиденье кресла, на которое

она и села, тотчас же вскрикнув от боли. На большой перемене мы в кровь набили морду этому, как мы определили, «садисту».

Но я не любил и уроков музыки. Евгения Павловна сперва «ставила мои пальцы», то и дело ругала и исправляла мои руки, грозно морщилась в ответ на мои ошибки, потом говорила маме, что я лентяй и что надо дома по два часа сидеть за роялем, играть гаммы и арпеджио, упражнения Черни и сонатины Клементи. Я еще не возражал бы против прелестных этюдов Геллера и Бургмюллера. «Два часа в день сидеть за роялем» вызывало у меня реакцию отвращения (потому я, вероятно, и не научился играть как следует, или же, может быть, именно потому, что я не был предназначен для этого, я и не сидел два часа за роялем).

Одно только оставило у меня приятное впечатление. У Нурок устраивались рождественские елки с участием всех учениц и учеников. Я помню, как на одной из них я бегал с одной чудесной голубоглазой девочкой и хлопал у ее ушка хлопучками. Может быть, это была первая любовь одиннадцатилетнего мальчишки (на следующий день я уезжал в Красный Холм, а она – в Рыбинск; до станции Сонково мы ехали в одном вагоне, и мое сердце замирало от счастья). Впрочем, первой любовью, пожалуй, должна считаться другая: через два года, когда я уже был в третьем классе, весной мы целые дни играли у Зарайских в крокет, а потом с Ниной (смуглой гибкой девочкой моего возраста) гуляли за монастырем, в белых бликах берез в лунном свете. И наконец мы с жадностью и испугом поцеловались, после чего я перестал ходить к ним из-за смущения, а потом уехал из Бежецка.

В Бежецке мы зачитывались романами Виктора Гюго, Хаггарда, Вальтера Скотта; читали с увлечением Герберта Уэллса, Конан Дойля. Особенно меня почему-то прельщала «Машина времени»; мне казалось действительно заманчивым переноситься в глубь прошедших времен или в даль будущей жизни. «Шерлок Холмс» породил острый интерес к книжкам на те же темы («Нат Пинкертон», «Ник Картер» и т. п.; каждый новый выпуск в обложках со страшными картинками мы быстро «проглатывали»). Мы любили географию, собирали марки, играли в «списки городов» (каждый должен был на листе бумаги написать возможно большее число названий столиц мира или городов России и т. п., выигравший получал книжку, марку и т. п.). Мы, впрочем, читали Пушкина и Лермонтова, писали стихи, но пока это были лишь строфы о небе, солнце, буре, море. Почему-то сразу ужасно полюбилось: «Белеет парус одинокий в тумане моря голубом. Что ищет он в стране далекой, что кинул он в краю родном?»

Потом вдруг вспыхнула страсть к подражанию, притом в насмешливом плане. Чудные «горные вершины спят во тьме ночной, тихие долины полны свежей мглой» я перелицевал:

Пятые крестины
В кабаке идут.
Пьяные купчины
Песенки поют.

Не поет лишь скряга,
Погружен в счета;
Погоди – ограбят,
Запоешь тогда... и т. п.

Когда меня спрашивали, кем я намерен быть, когда буду взрослым, я в разное время бежецкой жизни отвечал: путешественником, географом, поэтом... «но может быть, просто ничего не выйдет». Отметки у меня были неважные.

Это последнее обстоятельство – наряду с желанием отца прекратить поездки в Бежецк – заставило мать мою взять меня из реального училища и обучать дома, в Красном Холме.

Так как в дальнейшем меня намеревались определить в гимназию, то засадили за латинский язык. В гимназию можно было поступить и среди года; но нужно было держать вечно вроде экзамена (так как я поступал не в порядке перевода). Экзамены, к удивлению родителей, я выдержал блестяще и был зачислен в Мужскую классическую имени императора Александра II царя-освободителя гимназию в Новом Петергофе. В Петергофе – потому что там проживала моя тетка, Елена Константиновна. Начался новый период жизни.

Мне очень нравился Английский парк, через который я каждый день проходил, так как жил на так называемых Новых местах Старого Петергофа. Этот путь туда и обратно я проделывал для себя совершенно незаметно, я мечтал. Это было время наиболее увлекательных и ярких мечтаний. Мне становилось досадно, что я уже пришел в гимназию (да еще, сдуру, первым – класс еще закрыт) или уже вернулся домой (обед, потом уроки – какая-то скука). И зимой, сквозь запущенные деревья, и осенью, сквозь золото листьев, и весной, сквозь ажурные сетки молодых ветвей, – всегда было так славно!

Это было время наиболее увлекательных и ярких мечтаний

Упоительны были также парки (леса) графа Мордвинова и князя Лихтенбергского за нами, совсем близко, по направлению к Ораниенбауму. Там можно даже встретить зайцев (Митька, мой двоюродный брат, браконьер, даже стрелял в них из самодельного ружья, но промахнулся).

Нижний парк с фонтанами в Новом Петергофе примыкал к гимназии, но тогда его красоты не доходили до меня, я был равнодушен к золоченым статуям. Позже весной, когда уже были в разгаре экзамены, там разгуливали блестящие гвардейские офицеры с модными дамами (в Петергофе были расквартированы Гренадерский, Драгунский и Уланский полки Его Императорского Величества), играл симфонический оркестр, а иногда появлялись и дочери царя Николая II, миловидные широколицые девицы в белых с голубым платьях, в свите фрейлин.

Вообще в Петергофе было много военных, и в гимназии, рядом на партах сидели офицерские сынки, один даже граф. Я почувствовал к нему сразу какое-то раздражение, и, хотя он сам был любезным, воспитанным мальчиком, я избегал его и никогда почему-то не обращался к нему, точно был незнаком с ним.

Очевидно, как-то сказывался краснохолмский земский демократизм. Мой сосед по парте, Воробьев, сын капельмейстера оркестра, также был левых взглядов. Мы читали газетные сообщения о деле Бейлиса, в котором один еврей из Киева обвинялся в том, что он убил христианского младенца с целью получения крови для примешивания в мацу ^[2]. Речи Карабчевского⁹ и Маклакова¹⁰ (защитников) у нас вызывали восторг, а черносотенные инсинуации «Нового времени»¹¹ – негодование. Мы следили за выступлениями в Государственной думе и были неодобрительно настроены в адрес Пуришкевича¹² (драной собаке, жившей где-то около гимназии, мы дали кличку Пуришкевич).

⁹ Карабчевский Николай Платонович (1851–1925) – российский судебный оратор, писатель, поэт, общественный деятель. Адвокат Бейлиса.

¹⁰ Маклаков Василий Алексеевич (1869–1957) – российский адвокат, политический деятель. Член Государственной думы II, III и IV созывов. Адвокат Бейлиса.

¹¹ «Новое время» – русская газета, издававшаяся в Петербурге до революции. Была закрыта сразу же после Октябрьской революции 1917 года. К описываемому периоду превратилась в реакционный сервильный орган печати, занимавший антисемитскую позицию.

¹² Пуришкевич Владимир Митрофанович (1870–1920) – русский политический деятель ультраправого толка, монар-

Между тем дома, у тети Лели, меня ожидал «политический противник». Ее муж, Иван Дмитриевич Лобанов, был бухгалтером какого-то частного коммерческого банка, типичный клерк, отправлявшийся в 8 часов утра в Петербург на поезде и возвращавшийся оттуда, обычно с покупками, в 8 вечера. У него был строгий красный нос (любил, между прочим, выпить), белесые глаза смотрели пронизательно, он то и дело осенял себя крестным знамением. Человек он был, как потом оказалось, вполне честный, после революции служил нотариусом, блюдя советские законы, а потом умер от рака желудка.

Садясь за ужин, мы должны были выслушивать его молитву, казавшуюся нам фари-сейской. Поесть он любил обильно. Сперва обнюхивал блюда своими зияющими ноздрями, потом чавкал от удовольствия, а затем чистил чем-то свои зубы, еще сидя за столом.

Сынку интеллигентного доктора было несколько неуютно взирать на этого гиганта («чудовище»), и он стремился быстро юркнуть в свою комнату. Но после обеда начинались вопросы: «Как, господа гимназисты, по-вашему, евреи никогда не пьют христианскую кровь? А не они ли распяли Господа нашего Иисуса Христа? Стало быть, вы против «Нового времени», а читаете «День» (была тогда такая газета правосоциалистического направления) или «Речь» (орган кадетов). Мда! Антиправительственные газетенки, и я удивляюсь, что до сих пор смотрит цензура?» И т. д. Но тетя Леля была мягкая, ласковая дама, она прекращала тирады мужа и отправляла его спать. Через два часа Иван Дмитриевич просыпался и до поздней ночи сидел за какими-то канцелярскими книгами. Спросонок мы слышали иногда, как он еще работает и щелкает на счетах.

«Мы» – это я, их сын Митька и дочь Зина. Митька учился в той же гимназии, но из рук вон плохо, где-то шлялся, ему грозили исключением. Он был складный, ловкий парень, танцор, у него были вечные «романы» с девчонками, и я завидовал его успехам в сердечных делах. Судьба его плачевна: в советское время он сделал огромное сальто-мортале от народного комиссара уездного военкома, потом управдома в Ленинграде, а затем – после растраты какой-то суммы (им или его собутыльниками, осталось неясным) – до ссыльного в Нарым; во всех амплуа он, однако же, казался в форме, сменял последовательно многочисленных жен (одну даже нашел в тюрьме), а теперь кончает жизнь сторожем где-то на Урале. У него способные дочери, врачи и комсомолки (но ведь мать их с ним давным-давно в разводе). Зина же была скромная добрая девочка, только слишком уж часто ревела. В дальнейшем она превратилась в привлекательную и умную особу, после революции вышла замуж за одного из первых председателей исполкома в Красном Холме, потом развелась с ним и в настоящее время проживает в Москве с мужем, видным инженером-строителем железных дорог.

Лето 1914 года наша семья провела на Кавказе. К этому времени А. А. Тхоржевская лишилась мужа и предложила моему отцу купить небольшой участок земли в Горийском уезде Тифлисской губернии – у Тхоржевских был там домик и насажен большой сад. Мы с энтузиазмом отправились на юг.

Мы катили по южнорусским степям в купе второго класса, жарились в каменноугольной пыли Донецкого бассейна, радовались первым фиолетовым горкам Минеральных Вод, затем вглядывались в силуэты вершин приближавшегося Кавказского хребта.

Наконец на станции Беслан – пересадка. Курьерский поезд «Санкт-Петербург – Батум» отправлялся огибать горы на Баку, а мы садились в местный состав и ночью прибывали во Владикавказ; переночевав в гостинице, рано утром с радостным чувством садились на автомобиль и катили по Военно-Грузинской дороге.

То был старенький автомобиль какой-то французской марки; он был быстр и удобен и пробегал всю дорогу за день. Дарьяльское ущелье, Казбек, Крестовый перевал, «холмы

хист, черносотенец, юдофоб. По отношению к «делу Бейлиса» занимал резко обвинительную позицию. Автор антисемитского запроса Государственной думы в адрес министров юстиции и внутренних дел.

Грузии печальной» (и совсем не печальной, а, казалось мне, ликующей), «сапфирные воды» Арагвы (она, наоборот, казалась грязной и незначительной речонкой – то ли дело Неледина!), Мцхет, наконец, Тифлис – вечером таинственный и величавый. Приехали! Наутро – опять поезд, опять Мцхет, Кура, маленькая станция Каспи, рой мальчишек, продающих нанизанные на прутья абрикосы, ранние персики, фазтон, ожидавший нас по телеграмме; мы – в долине полупересохшей речки Лехуры, по каменистой дороге едем в горы, уже виден конус Самтависского храма и широкие склоны горы Цхвилы, увенчанные развалинами старинной крепости. Вот тут, собственно, «имение». Мы входим в дом, элегантный и легкий, немного пахнет сухими фруктами, но в открытые окна вливается чудесный горный воздух, а на террасе цветут глицинии, фиолетово-голубыми гроздьями загораживая нас от сияющего июньского солнца.

Какой был там дивный сад! Хозяин выписывал французские груши (Бере Жиффар, Бере Александр, Дюшес Ангулем и т. п.), насадил белые и красные кальвиль, бельфлер, разнообразных ранет; огромные сливы янтарного цвета; каспийские персики, они вообще славились в Закавказье; белые и розовые черешни опадали, так как некому было есть их так рано в мае. Росли огромные ореховые деревья – зеленые в кожуре орехи потом ищи на варенье. Около дома все заросло розами. Склон горы покрыт дубовым и грабовым лесом; слишком сухо – деревья низкие, трава черства и желта, но благоухает каким-то священным запахом (полынь? мята?), – а по вечерам неистово стучат цикады.

Отец, я и мой брат Левик девяти лет отправлялись в горы. Мы восходили на темно-зеленую Пицару, откуда можно было видеть сахарную голову Казбека, если в той стороне, на севере, не было облаков. Или переваливали за Цхвилу, там произрастал буковый лес, и тень шатров огромных деревьев плюс горная высота давали живительную прохладу. Можно было пройти и дальше, до вершины, покрытой сочной альпийской травой; оттуда открывался вид на цепь снеговых вершин Главного Кавказского хребта. На обратном пути пили холодную воду родников, влезали на феодальные башни. Дома беспокоились, и в быстрых южных сумерках мы возвращались усталые, но счастливые.

В селе Самтависи жила учительница, у нее был сын Баград, харьковский студент, и две дочери – Лело и Кето. По вечерам мы собирались то у нас, то у них, шли смотреть деревенские танцы. Грузинские танцы однообразны, но быстры, изящны и романтичны. Кавалер ритмично перебирает ногами (какой-то причудливый бег на месте), учтиво и изящно изгибаясь руками и корпусом перед дамой, она плывет перед ним, увлекая его, но не позволяя догнать себя, и страстный бег их в конце концов только порыв, мечта... никаких прикасаний или прижиманий, как в эротических европейских танцах. И все это под заунывные, тонкие, восточные звуки, в которых вибрируют одни и те же полутона – и под залитым луною небом или небом, усеянным по-южному крупными звездами, непривычно для нас, северян, близкими. Лело – красивая грузинка с большими черными очами и стройным станом, но она говорит с сильным гортанным акцентом. Кето же говорит удивительно задушевно, у нее удлиненное лицо и длинные косы (и немножко длинен нос), она умница, читает «Обрыв» Гончарова, уединяясь. Кето хорошо еще напевает «Мраволжамия» и другие нежные грузинские песни. К ним приехала подруга по гимназии, бойкая русская девчонка Рая; почему-то между нею и мной сразу открылись военные действия. Я импровизировал эпиграммы («От таких Раис я совсем раскис», «Мне красавицы совсем не нравятся» и т. п.). Студент Баград, постарше всех нас, обычно беседовал с отцом. Он рассказывал о местных преданиях, об истории Грузии, и я бросал девчонок и присоединялся к «взрослым».

Баград сообщал, как бедно живут люди в деревне. Ведь еще недавно князья держали их в экономической зависимости (так называемые хиханские отношения – своего рода барщина, сохранившаяся до революции 1905 года). Много народу разорилось. Нищими стали, впрочем, и некоторые дворяне, которых отличишь от крестьянина разве лишь по гонору и

лени. Вот фазтонщик, привозивший вас со станции, – князь. Нет, не в шутку, а настоящий имеретинский князь из рода Амилахвари. А в соседних Чалах другие князья Амилахвари имеют отличное имение и господский дом, напоминающий своими башнями замок. Им принадлежит большинство здешних земель. Их родственник, князь Алексеев-Месхиев, красивый молодой человек, только что окончил юридический факультет Петербургского университета. А есть и разбойник из этого же княжеского рода. О, у нас особые разбойники! Они немного напоминают Дубровского. Они грабят богатых, дерутся со стражниками, а бедных не трогают, иногда даже помогают им. Худо только, что они могут увести с собою в горы какую-нибудь молодую женщину (но, вероятно, все ж с ее согласия).

О, у нас особые разбойники! Они немного напоминают Дубровского

Слушая о разбойниках, я даже решил, как только приду домой, засесть за поэму, что-нибудь вроде «Мцыри». Позже я написал ее, но даже самому мне она не понравилась (при всем авторском тщеславии). Беседа прерывалась ужином, которым гостеприимно потчевала нас Нина Дмитриевна: чахохбили из кур, пшеничные лепешки, выпекаемые на стенках раскаленных каменных чанов в земле (чуреки), сухое терпкое вино, при нас почерпнутое из закопанных в землю громадных кувшинов, чурчхелы, козинаки, ранний сладкий виноград, чай с ореховым вареньем. А потом нас провожали домой, и надо было снять обувь, чтобы перейти вброд речку.

Вскоре у меня появилось новое увлекательное занятие – ездить верхом. Лошадь была небольшая, как и все местные лошади, но хорошо шла по горным тропам. Я объездил окрестности, был за 20 верст в Гори, у соленого синего озера среди пшеничных полей и т. п.

Как-то раз я проезжал мимо усадьбы князя Амилахвари и увидел на балконе девушку. Это была княжна, приехавшая из Петербурга, где она училась в Смольном институте. Как раз в это время я имел чрезмерно романтические настроения, читал «Дон Жуана» Байрона и т. п. Я вообразил, что влюблен в нее, стал часто проезжать мимо их дома, но ни разу ее больше не видел. Когда отец, знакомый с князем, предложил прогуляться с ним, я отказался, струсил. Зато хорошо писались стихи, ей посвященные.

Смотри, какая красота,
Как гор чудесен полукруг,
Чист воздух, как моя мечта
Одну тебя любить, мой друг.

Далеких гор люблю снега,
Кавказ, как твой велик простор,
Люблю я трепет ветерка
И вид величественных гор.

Но стихи не разрешали эмоционального конфликта, и я принял мрачный, разочарованный вид. Я сочинял другие стихи, комичность которых заметил лишь позже.

О где ты, молодость счастливая,
Тебя уж нет, исчезла ты;
Где жар, огонь во мне горевший,
Где вы, прекрасные мечты!

Один лишь призрак угасающий
Нависшей смерти за спиной
Стоит холодный, устрашающий
И нас уводит за собой.

Мне, правда, самому не нравилось дублирование слов «ужасающий» и «потрясающий» – ну, да наплевать, сойдет!

Молодость, конечно, не только не исчезла, а лишь начиналась. И с каждым месяцем я ощущал на себе ее властный жизненный напор. Чудесный юг, лето, синие горы, верховая езда, гимназия еще не скоро... И вдруг... Поздно вечером 2 июля пришла страшная весть: война с Германией. В Сараево убит австрийский эрцгерцог. Царь обратился с волнующим патриотическим манифестом. Объявлена всеобщая мобилизация. Англия и Франция – члены Тройственного сердечного согласия (Антанта) – выступят также против Тройственного союза (Германия, Австро-Венгрия, Италия). Мировая война! Ужасная катастрофа. А мы ничего не знали, что творится на свете. Отец последнее время даже перестал следить за газетами, раздраженный бюрократическим и полицейским режимом. Надо же когда-нибудь от этого всего отдохнуть. И вот разразилась война. Скорее домой!

Молодость, конечно, не только не исчезла, а лишь начиналась

Мы едем на станцию Каспи, начальник станции всовывает нас в вагон первого класса; в Тифлисе, Баку, Ростове и Харькове мы жадно читали в газетах первые сообщения о войне.

В Москве мы останавливаемся у дяди Сергея Александровича. Он скептик, говорит, что Россия не может победить, империя сгнила до основания, наверху – воры и трусы; он сомневается, есть ли у нас пушки. Мужикам нечего защищать, земли у них нет, разве что у кулаков, но они привыкли чужими руками жар загребать и пойдут не на фронт, а в интенданты. Вот и хорошо, если немцы проучат нас. А впрочем, Вильгельм и Николай – два сапога пара, да еще и родственники. В манифесте красиво сказано об исконных чаяниях поляков, их мечте о свободной Польше, но это обман. Возможно, что нет худа без добра, рухнет Россия старая, родится Россия новая. Но жертвы, страдания людей! Сергей Александрович протер носовым платком свои очки и застучал пальцами по столу.

По пути в Красный Холм мы задерживались на многих остановках, так как пропускали воинские эшелоны. Телячьи вагоны были битком набиты только что забранными в солдаты деревенскими парнями.

На краснохолмском вокзале – скопление народа. Грузится состав с новобранцами. Безусые потные солдатики – в защитных гимнастерках и бескозырках с кокардами (в виде плевка) с перекинутой через плечо свернутой шинелью и тяжелым ранцем за спиной; им еще не дали ружей – где-то еще будут учить стрелять. Толпы баб и девок окружают солдат на платформе, громко плача и причитая «Ненаглядный ты мой!», «Дитяtko мое!» и т. д. Парни немного выпили вчера у «казенки» и весь вечер прогуляли с песнями с гармошкой. «Пушечное мясо» имело вид обреченной послушной массы. Кто бы мог думать, что именно они победят не Германию, а царизм и заложат основы нового мира?

В городе – волнения. Недавно толпа «патриотов» (отец говорит, из «Союза русского народа», черносотенцев) учинила расправу над немцами, а заодно и над евреями. Они ворвались в аптеку, перебили банки с лекарствами, потом бросились наверх, в квартиру аптекаря Бинерта. Аптекарь вовремя спрятался в огороде, но его рояль, на котором одинокий человек любил по вечерам играть Моцарта, выбросили в окно со второго этажа. Очередь дошла до

часовых дел мастера. Часы растащили или растоптали ногами. Немку-булочницу Гаазе, у которой были белобрысы славеньские дочки (охотно участвовавшие в любительских спектаклях), вытащили из лавки и потащили топить в Неледину, но опомнились по дороге и отпустили, надавав шлепков по определенному месту. Потом пыл погромщиков как-то разом выдохся, и они разошлись по домам, не глядя друг на друга. Полиция считала эти выходки выражением патриотических чувств, тем более что их участники распевали гимн «Боже, царя храни».

Мобилизация коснулась всех. Образованную молодежь отправляли в наскоро открытые военные училища, оттуда выпускали потом прапорщиками. Создавались летучие медицинские отряды, шел набор врачей, сестер милосердия и санитарок.

Общественность города стала готовить себя в помощь войне, шли добровольцы. Это были юнцы, имевшие романтические сведения о войне, вычитанные из романов. Несомненно, налицо был и патриотический подъем. На нас напали немцы. Можно было как угодно интерпретировать истинные причины войны, можно было иметь либеральные или демократические убеждения, отвергать самодержавие – но родина в опасности. Возможно, в обществе есть силы, понимающие более правильно свои задачи; возможно, война необходима для гибели режима, о котором нелестно отзывались не только сознательные рабочие и интеллигенция, но и все гимназисты и гимназистки. Но родина, тевтоны и т. д. и т. п.! Великая Россия не может быть побеждена! Ура! На фронт!

Общественность города стала готовить себя в помощь войне, шли добровольцы

Краснохолмские дамы организуют «в помощь фронту» сбор теплых вещей, продовольственных посылок. Готовятся к приему раненых. В школьных помещениях открыты госпитали, под лазарет отводится и весь наш дом. И вот прибывает первый поезд раненых. Их встречают цветами, подарками. Их приветствуют как «серых героев», жертвовавших жизнью за веру, царя и отечество. Им, конечно, здесь хорошо. Но раненые серьезны, казалось, они что-то такое узнали и мы в их глазах – смешные дети (это относилось и к взрослым) или пустые бездельники. Концерты и чтения, устраиваемые для них, выглядят нехоти. Впрочем, ласка действует, и в конце своего пребывания в лазаретах они, уже передвигаясь на костыле или действуя одной уцелевшей рукой, уже улыбаются, особенно сестрам и нам, мальчишкам. Выписываясь – в деревню или в нестроевые части – они даже растроганы и потом пишут любовные письма своим сиделкам. «Господа офицеры» лежат в особых отделениях, их пока мало, они охотно соглашаются с тем, что они герои, многим из них даны награды за успехи в первых сражениях.

Да, военные действия складываются для нас удачно. Мы наступаем. Наши войска вступили в австро-венгерскую Галицию и приближаются к Львову. Вот у французов плохо. Немецкая армия на западном фронте, столкнувшись с французской оборонительной линией Мажино, обошла ее с севера. Нарушив нейтралитет Бельгии, заняв эту страну, обрушилась на Францию. Сопротивлению бельгийцев под началом короля Альберта мы горячо аплодировали. Всюду исполнялись бельгийский гимн, сербская песня «Сабля моя», британские «God, Save the King» и «Rule, Britannia!» и «Марсельеза». Еще не так давно могли за «Марсельезу» засадить в тюрьму, так как ее пели в 1905 году вместе с революционными песнями «Отречемся от старого мира», «Мы жертвою пали», «Варшавянка». А теперь этот гимн Франции приветствовали открыто, но с тайной мыслью о революционном его значении, как бы символизирующем грядущие перемены. «Новые времена – новые песни».

Но я еще мал для войны и должен отправляться в гимназию. В Петергофе угар патриотизма разогрет близостью царской фамилии. Вот назначен смотр гвардии. Нас почему-то также велено выставить на кадетском плацу. Холодным сентябрьским утром царь обходит ряды войск под аккомпанемент «Ур-ра!». Он подходит и к нам. Мы видим его обычное русское лицо и маленькую фигуру; у меня зябнут руки. «Что, руки замерзли?» – обращается царь ко мне довольно просто, а соседний гимназист кричит, выпучив глаза и вытянувшись во фронт: «Никак нет, Ваше Императорское Величество!» Царь слабо улыбается и устало идет со свитой дальше. «Неужели этот, по-видимому, добрый человек, – спрашиваю я себя, – вешает и расстреливает?»

Холодным сентябрьским утром царь обходит ряды войск под аккомпанемент «Ур-ра!»

Гимназия поглощена военными действиями. Мы завели карты, срисовываем их из газет, ведем счет убитым и раненым и радуемся их большому числу (вот молодые дураки!). Особенно нас увлекает морской театр военных действий. У меня – справочник о флотах держав мира, перечень кораблей с указанием тоннажа, скорости, вооружения. В нем – масса снимков красивых крейсеров и миноносцев. Мы следим за морскими сражениями, но, на нашу досаду, их все не было и не было, по крайней мере, «настоящих». Многие из нас связаны с моряками из Кронштадта, мы знаем о минировании Финского и Рижского заливов, нас беспокоят «Гебен» и «Бреслау», прорвавшиеся в Черное море. Мы даже издаем в классе журнал «Война на море», богато иллюстрированный рисунками и вклейками.

Страшный удар в Восточной Пруссии, погубивший корпус генерала Самсонова, вызывает уныние лишь на короткий срок. Мы еще не знаем, как слабо вооружена наша армия. Напротив, поход Русского на Карпаты, взятие крепости Перемышль, казалось, говорили о наших успехах. Правда, отступают австрийцы, а не немцы. Лоскутная империя Франца Иосифа слаба своими чехами и русинами, это естественно. А немцы все еще заняты наступлением во Франции.

Но вот обрушивается на Польском фронте фаланга генерала Макензена, по прямым магистралям перекинутая с запада. Все быстро меняется. Мы отступаем. В течение 1915 года наши войска отходят. Они оставляют польские города, отдают Варшаву. Маленькая крепость Новогеоргиевск еще некоторое время сопротивляется, и потом и она сдается; войска отхлынули в Брест-Литовск. Бои на Мазурских болотах у Немана. Совершенно ясно, что требуются героические меры. Вдруг обнаружилось, что у нас не только плохая артиллерия, но просто нет ружей и нет пуль – нечем стрелять. Нашим солдатам было отпущено по восемь снарядов в день на орудие; пехота шла или без ружей, а если с ружьями, то без пуль. Виновато ли тут ворующее интендантство или беспечность технической службы (повторившей «Шапками закидаем», то есть «авось», столь дорого обошедшуюся в Русско-японскую войну). Нет, гораздо хуже. Тут, господа, измена. Просто-напросто измена. Наш-то император – безвольный тюфяк. А вот императрица Александра Федоровна знает, что делает. Она же немка. Да и вообще при дворе сплошь одни немцы, и многие генералы – тоже немцы.

Общественные круги страны стремятся к спасению фронта. Организуется военно-промышленный комитет, союз городов, земский союз.

Мой отец не может остаться вне этого движения. Он решает отправиться на западный фронт. Наши войска временно задержались на линии Ковно – Гродно – Брест-Литовск. Но под ударом наступающих немецких армий и эта линия обороны пала. Отхлынул и оголенный с севера галицийский фронт. Наступили мрачные дни. В этот же период германские армии разбили сербские войска и заняли Сербию (а Болгария и Турция выступили на сто-

роне Германии). Англичане высадили десант на Галлипольском полуострове, но их операция окончилась неудачей, и они ретировались. На западном фронте шла напряженная борьба, английские войска влили свежие силы, а темп наступления немцев ослаб.

Постепенно, отчасти из-за границы, от союзников, отчасти благодаря принятым новым военным министром Поливановым мерам, армия стала получать снаряды, и отступление стало задерживаться.

К 1916 году установилась так называемая окопная война. Наш фронт шел от Риги через Двинск и далее на юг на Молодечно. Во Франции продолжалась борьба за Верден.

Отец ездил в окопы, проверял медико-санитарную службу. Однажды он посетил там и своего сына Евгения, поручика.

Женька до войны несколько раз поступал в высшие учебные заведения, но не пожелал в них оставаться и в конце концов вопреки воле отца пошел в какое-то военное (саперное) училище. Еще перед войной он красовался перед нами в мундире, шпорах и погонах, прельщая барышень своими усами и духами. Это был пустой молодой человек, но одно в нем трогало – любовь к цветам. Он первый собирал ландыши, отправляясь росистым утром в лес; его комната всегда утопала в цветах.

Окопы представляли собою целую систему из переходов, траншей, блиндажей, землянок для солдат. Было сыро, холодно, грязно – но это была жизнь, *modus vivendi*, а не смерть в атаке. Не хватало сапог, теплой одежды (хотя к зиме положение улучшилось, стали поступать валенки, полушубки). Вши заедали, но сыпняка еще не было. Господа офицеры жили получше. Денщики доставали им хорошие вина, офицеры играли в карты и иногда на ночь отправлялись в тыл, в ближайший город, и проводили часы весело в женском обществе (не все же население превращалось в «беженцев из западных губерний»).

Евгений завел с отцом острый разговор. Солдаты настроены все хуже и хуже. Он просто не знает, как обуздать их проснувшуюся подлую сознательность. Ему кажется, что вот-вот они перестанут слушаться. Они шепчутся о какой-то там измене. Что там у вас в тылу делается? Кто это там так глупо командует, а еще более скверно организует? Офицеры начинают подозревать, не дело ли это рук социалистов. Не они ли разваливают фронт? Саботаж в военной промышленности – деле не чужих, а своих изменников. Революция вспыхнет на пепелище поражения. И все это вы, интеллигенты, сделали. И вот из-за вас валяйся здесь в грязи, а потом разредят – немец или свой нижний чин. Евгений говорил, что если вновь будет революция, он лично как патриот не будет раздумывать, убивать ли вас («то есть, конечно, не тебя, папа, персонально, я это говорю так, вообще»).

Некоторые наши знакомые, побывавшие на фронте, в том числе прапорщики с университетским образованием, отмечали «революционные» и даже «анархические» настроения у солдат. Они передавали слухи о забастовках рабочих на заводах в Петербурге. Все более громко и открыто ругали правительство.

Осенью 1915 года отца перебросили на Закавказский фронт, и мы решили переселиться поближе к нему, в Тифлис. Мы поселились на Великокняжеской улице на берегу Куры в приятной квартире с террасой и балконом, с которой открывался красивый вид на город, гору святого Давида. Вечером амфитеатр зданий на черном фоне горы сверкал огнями, цепочка огней бежала ввысь по фуникулеру. Мерный рокот речных волн сливался со звуками большого, оживленного города.

Я поступил во Вторую Императора Александра I Благословенного (и везет же мне на императоров Александров!) гимназию на Головинском проспекте в седьмой класс. Приятные лица товарищей, все больше «черномазых», и симпатичные учителя.

Его превосходительство директор гимназии Гуладзе строго посмотрел на меня, сказав несколько слов с кавказским акцентом, но, непонятно почему, я сразу почувствовал к нему доверие и симпатию. Он был одинокий, справедливый человек.

Наш классный наставник, толстый русский господин, мне, впрочем, не понравился; именно он следил за нашим поведением на улицах, в театре и откуда-то был осведомлен обо всех наших делах.

Учитель русского языка Радкевич нам замечательно интерпретировал литературу, заслушаешься и с досадой воспринимаешь пронзительный звонок – как жалко, что урок кончился! Мы писали ему сочинения по 30–40 страниц (мне кажется, никогда я не был так знаком с литературой, как в эти два года гимназии), издавали журнал, в котором помещались наши стихи и рассказы.

Толстеный маленький математик Асланов примирил меня с его специальностью – у него все было понятно (особенно после того, как я неожиданно получил пятерку, что меня обязало держать тонус).

Приятели были все – и грузины, и армяне, и турки, и русские, и даже немцы. «Хоть немец вы, а славный человек, ошибка ведь, воинственный наш век», – писал я четверостишие на Альмендингере. Но друг у меня появился один, и это был лучший друг молодых лет, – сидевший впереди меня на парте Марик Ротинянц.

Приятели были все – и грузины, и армяне, и турки, и русские, и даже немцы

У Марика были большие, умные и грустные глаза. Он был немного скептик. Вскоре же Марик сообщил мне, что безнадежно влюблен в девушку, жившую в Баку. Кажется, она предпочитает других поклонников, которых у нее слишком много, «но ничего не могу с собою поделать». Я ему сочувствовал, но пока еще не понимал.

Вскоре, однако, я понял друга, да еще как! Я стал заходить к Марику – он жил на Головинском (отец его был известным в Тифлисе врачом). В его комнате мы лежали на тахтах, рассуждая о жизни, политике, поэзии, но не касались войны (застывшей тогда в зимних окопах). К тому времени вообще как-то перестали так остро переживать войну, как в первый год (по крайней мере, те, кто не воевал и продолжал жить обычной жизнью, и особенно те, кто не терял близких). Но грозное время вселяло в нас беспокойство, какую-то тоскливую неуверенность (куда идти?). «А ты говоришь о счастье, – сказал Марик, – его нет». И в эту минуту в комнату вошла его сестра Катя. И я сразу ощутил всем своим существом: вот оно, счастье! Какая прелесть, какой сияющий взгляд, какие нежные и в то же время чуть насмешливые губы! «Что вы так на меня смотрите?» – спросила она. Кате шел шестнадцатый год, она была небольшого роста и казалась простой и веселой девочкой. «Не мешай нам, мы философствуем», – буркнул ей брат. Она ответила: «Ну и философствуйте, Чайльд-Гарольды», – и скрылась.

«Девочка» потом оказалась вовсе не такой «простой и веселой». То есть она была, мне казалось, слишком веселой. Я вскоре стал считать, что она кокетка, что она нарочно меня мучает. Катя встречала меня то с ледяным безразличием, то с какой-то кислой или небрежной миной. С каждым днем я все сильнее влюблялся в нее, и чем более сухо она вела себя со мной, тем сильнее разгоралась моя любовь. Вскоре все вечера, а иногда и ночи я только и думал о Кате, писал ей стихи и мне было сладостно-тоскливо. Сердце сжималось, я ходил около ее дома взад и вперед в надежде ее встретить.

Я угадывал издали и прятался за угол. Потом шел сзади. Мне хотелось целовать следы ее ног. «Черт знает что!» – вдруг спохватываясь я, мне было стыдно и не было, казалось, выхода.

Иногда она была приветлива. Как-то раз даже предложила поехать с Мариком и со мной в Самтависи – это было уже весной. Я ждал ее приезда, вычистил дорожки в саду, заставил

отведенную ей комнату розами (мать даже как-то испуганно посмотрела на них и на меня), побежал встречать, но... приехал один Марик. Катя кланяется, она уехала с компанией в Боржом. Выбрасывая цветы за окно, я говорил себе: «Ну и к черту, к черту!» – но в первый же день в Тифлисе я побежал к ним.

Тем временем война оживилась. Упорная борьба на Ипре, отпор французских войск на Сомме, стойкая защита Вердена предсказывали неблагоприятный для Германии поворот судьбы. Америка вступила также в войну, что всеми расценивалось как знак неизбежного краха кайзера. У нас на фронте, впервые после мрачного отступления, предприняты были успешные контратаки армии генерала Брусилова на Стыри. На Кавказском театре мы наступали на всем фронте от озера Ван до Трапезунда. Войска генерала Юденича подошли к Эрзеруму.

Тем временем война оживилась

Армянские беженцы, нищие и истощенные, представляли горючий материал для вспышек эпидемических болезней; спасшиеся от курдской резни¹³, они погибали от дизентерии. Мой отец имел специальное поручение по организации медико-санитарного обслуживания беженцев. Либерально настроенные богатые армяне, в том числе и тифлисский городской голова Хатисов, доктор Оганджанов и другие всячески помогали ему средствами и людьми.

Однажды отец взял меня сопровождать его в одну из поездок в Армению. Мы проехали на машине через Дилижан, по берегу озера Севан. Библейские равнины вокруг синей глади вод, окаймленные фиолетовыми или красноватыми горами, и на синеве неба – яркие белые пятна Алагеза произвели на меня неожиданное действие: что ты все думаешь о Кате, говорил я себе, так красив мир и без нее; я почувствовал какое-то освобождение (оказавшееся, впрочем, эфемерным). Пыльные, жаркие, заполненные беженцами Эривань и Эчмиадзин – захолустные города восточного типа. Тогда я еще не знал живописи Сарьяна, а древняя архитектура армянских монастырей действовала лишь инстинктивно. Впрочем, я прочел какую-то книгу Амфитеатрова об Армении, ее отношении к Риму (теперь уже не помню, что там было написано, но помню, что она укрепила мое уважение к истории кавказских народов). Потом мы проехали по направлению к фронту, к Игдырю. Перед нами сиял Арарат своим белым, священным конусом – сколько потом я ни видел в мире гор, ни одна не произвела на меня такого сильного впечатления.

Вскоре был взят Эрзерум. По сему случаю «Тифлисский листок» напечатал мое стихотворение:

Пал Эрзерум, турецкую твердыню
Сломили наши славные войска.
Победы полной близок час отныне
И наша цель конечная – близка и т. д.

Катя встретила меня словами «читала я ваши патриотические вирши», и я покраснел. Что за зуд такой – стихоплетство! «Напишите уж лучше пьесу о нас», – предложила Катя, валяясь на диване и укладывая свои ножки то над, то под пледом (мы были с ней всегда на «вы», хотя встречались почти каждый день на протяжении двух лет). «Ладно, – сказал я, – если вы будете играть главную роль».

¹³ Имеется в виду геноцид армян в Турции 24 апреля 1915 года. В этот период курдские племена не принимали участия в погромах и убийствах.

Пьеса «Мы» была быстро написана. Это была комедия о нашей гимназической жизни. Мы разыгрывали ее в актовом зале, все смеялись. Для меня же вся соль была в том, что два персонажа были влюблены друг в друга, но все время ссорились между собой, но в конце концов как бы случайно поцеловались. И я на сцене поцеловался с Катей, и казалось, что... Впрочем, мало ли что могло показаться в хорошей игре артистки! Катя же была настоящая актриса. Она уже давно поставила перед собой цель – играть в Художественном театре в Москве, не иначе! Возможна и другая карьера – певицы. Катя училась в музыкальном училище (теперь консерватория), и я с замиранием сердца слушал, как она распевала, аккомпанируя себе, этюд Шопена «Грусть», а особенно – захватывающий романс Грига «Весной». Этот романс был написан для исполнения Нине, будущей жене композитора; поэтическую историю их любви я знал; он так тонко отражал мои мечты, мои чувства!

Слушать музыку вообще было точно быть вместе с Катей. В те годы в Тифлис на гастроли приезжали Рахманинов, Александр Боровский. В концертном зале Артистического кружка на Головинском (сейчас в этом здании какой-то грузинский театр – рядом с гостиницей «Тбилиси») мы слушали Первый концерт Рахманинова в исполнении автора, его большие руки извлекали волшебные музыкальные фразы первой части, и я смотрел по временам на сидевшую поблизости Катю; мне казалось, что одни из этих фраз передают ей мою любовь, а другие, капризные, немного раздраженные и непокорные, отвечают недоверием и даже игривой насмешкой. Каждый ведь вкладывает в свою музыку свое настроение, – но и теперь, когда я слушаю первую часть этого концерта, я как бы вновь ощущаю давно прошедшее чувство и воспринимаю обрывки того диалога.

Каждый ведь вкладывает в свою музыку свое настроение

Зато совершенно холодно звучали для меня все бесчисленные оперы, которые шли в Казенном театре. Этот большой театр в мавританском стиле имел очень пестрый репертуар, и мы пересмотрели множество опер, которые уже перестали исполняться на столичной сцене, – «Манон», «Таис», «Гугеноты», «Жидовка» и т. п. Театр был хорош, и в нем охотно гастролировали «перед взыскательной, но благодарной тифлисской публикой» знаменитые певцы из Петербурга и Москвы – Шаляпин, Собинов, Нежданова, Смирнов, Алчевский и т. д.

Катя бывала в театре редко и обычно с какими-то молодыми людьми; я ревновал ее к ним. Всякий раз я шел в оперу в надежде, что и она там будет одна, но уходил не солоно хлебавши – хотя вместе с тем я мог видеть ее (и обычно видел) чуть не каждый день у них дома, так как мы с Мариком были всегда вместе – то у них, то у нас.

На гастролях Собинова, на «Лоэнгрине», мы сидели в одной ложе. Катя была так хороша с немного надутыми пунцовыми губами и так мило одета, что даже мать ее, сдержанная дама, произнесла: «Катя, а ты сегодня хорошенькая». А Катя, сверкнув на меня взглядом, заявила: «Это потому, что я влюбилась. В Собинова». Я обиделся и, недослушав «Там далеко, за синими морями, высится гордый замок Монсальвар», вышел из ложи и побрел домой. Вагнеровские звуки еще струились во мне, и только они приглушили вспышку обиды.

Обычно я шел домой сперва по Головинскому, потом по Барятинскому спуску мимо Александровского сада и через Воронцов мост. Но иногда я проходил мимо темной каменной стены нашей гимназии, дворца наместника, по Дворцовой улице, Эриванской площади и потом блуждал в улочках старого Тифлиса. Тут шла ночная жизнь в духанах, на перекрестках вертелись кинто, восточные женщины визгливо кричали, играла музыка, доносился ритм тамаша. Грязные лавчонки были уже закрыты, но пряный запах восточной пищи и фруктов стоял в воздухе. «Гаспадин гимназист, карош каспадин», – говорили мне какие-то яркие

девицы, но я ускорял шаги. «И почему я прилип к Кате!» – ругал я себя. Она южанка, она меня старше (хотя по годам и младше), ей не нужны такие молокососы. Студенты и офицеры окружают ее на балах, а я, жалкий гимназист, торчу в дверях и наблюдаю, как она носится с ними в вальсе (а я даже и танцевать не умею).

Однако любовь не мешала, а скорее способствовала моим другим интересам, особенно чтению. Я становился старше. Совершенно безразличен я стал к наукам естественным, точно никогда не смотрел в детстве с отцом в микроскоп. Рядом с нашей квартирой поселился молодой врач, увлекавшийся бактериологией и вступавший с моим отцом в длинные беседы на научные темы. Теперь я с отвращением слушал о микробах и болезнях, несмотря на любовь и уважение к родителям-медикам. Скоро уже кончать гимназию. Кем же мне быть? Только не врачом и не инженером.

Однако любовь не мешала, а скорее способствовала моим другим интересам, особенно чтению

С Мариком мы по очереди читали разнообразные книги. Мы читали «Братья Карамазовы» Достоевского и – в который раз! – любимые главы из «Войны и мира». Рудину мы предпочитали «Вешние воды». Читали «Санин» Арцыбашева (порнография!), но любили чистую «Викторию» Гамсуна. Мы прочитали исторические сочинения: «Величие и падение Рима» Ферреро, трилогию Мережковского и сличали историю Карамзина с историей Ключевского (обе нам нравились, хотя и с совершенно различных сторон). Мы проглатывали Ницше, Шопенгауэра, Отто Вейнингера («Пол и характер»). И вместе с тем мы изучали «Капитал» Карла Маркса (до третьего тома так и не дошли) и быстро всасывали в себя «Происхождение семьи, собственности и государства» Энгельса – книга, раскрывшая нам глаза на подлинные законы развития человеческого общества.

Политические убеждения наши были смутными. Мы периодически примеряли на себя различные партийные одежды. Мы были не прочь считать себя марксистами, но вместе с тем в нас рос, как на дрожжах, какой-то анархический, бунтарский индивидуализм. «Безумству храбрых поем мы песню» – эти горьковские слова мы понимали как девиз гордого, сильного, смелого человека, противопоставляющего себя «массе» с ее стадным чувством и безличным равенством. «Может быть, мы эсеры», – говорил один из нас. «Поди ты, – отвечал другой, – они эклектики и фразеры, у них нет научной основы». В конце концов, мы еще, возможно, малы и не знаем жизни. Вот в классе наш Джапаридзе знает что-то такое, более важное. Нам все время казалось, что в классе, а особенно – в параллельном «Б», имеется какая-то группа с революционными, крайне левыми убеждениями. Возможно, что они большевики. Мы видели членов этой группы иногда вместе с рабочими (из арсенала). «Вот молодцы! – думали мы. – Это настоящее дело, а мы занимаемся любовными чувствами и читаем книжки».

Мы читали и Ленина, но тогда эти книги не были нам по духу (барским сынкам). Зато поэзия! В Тифлис приехали футуристы, и Василий Каменский, прогуливаясь всегда без шляпы (даже в Москве, зимой), декламировал:

О солнцедатная ты гор столица
.....
В твои загарные Востока лица
Смотрю я, царственный Тифлис.
Здесь все взнесенно,
Как друг, стремительна Кура.

Была тогда мода на Игоря Северянина и Вертинского. «Ваши пальцы пахнут ладаном», «Где вы теперь, кто вам целует пальцы», «Ананасы в шампанском» породили у нас подражательское соревнование – и все стихи, свои и классические, мы перекладывали в ритм поэз.

В мути этих поэз, пригодных для веселящихся в ресторанах офицеров с фронта, вокруг которых увивались соблазнительные молодые женщины в ажурных чулках, как чистый кристалл звенел грустный голос юного Есенина, а зычное «Облако в штанах» Маяковского, казалось, бросало вызов буржуазному мещанству. Но больше всего мы любили Блока.

На гимназических вечерах мы продолжали декламировать свои стихи. Но тут случился со мною казус. Однажды на таком вечере я вышел на сцену. Вижу перед собой во втором ряду Катю, улыбающуюся своему соседу, блестящему офицеру, черт его знает какого чина, с Георгиевским крестом. И вместо строчки «Где зеленеет дуб у ветхого забора» у меня выходит «И зеленый зуб у ветхого забора». Общий смех. Никогда после этого случая я не вылезал больше на сцену читать стихи.

И вообще пора кончать и со стихами, и с любовью.
Все мечты отцветут и поблекнут с годами,
Но пока мы юны – счастье наше в мечтах.
Будет осень. Придут и дожди с холодами
И увянут цветы на полях.

Это были последние мои стихотворные упражнения.

Между тем война шла своим чередом, и, казалось, ей не будет конца. Правда, союзники стали сильнее немцев, это становилось все более ясным, но наш фронт угрюмо ждал. Во многих семьях были убитые и раненые. Убит был Баград, сын самтависской учительницы. Пропал без вести наш Женя, хотя в списках убитых его не было. Встревоженный отец хотел было ехать на западный фронт, но получил через шведское посольство ответ на запрос – Женя попал в плен.

Между тем война шла своим чередом, и, казалось, ей не будет конца

Внутреннее положение страны явно изменилось. Забастовки и митинги прокатились на крупных фабриках и заводах Петрограда. После расстрела рабочих на Ленских рудниках¹⁴ Государственная дума стала смелее. Депутаты открыто выступали против полицейского режима. Продолжавшиеся злоупотребления в деле военных заказов и на поставках обмундирования возмущали как общество, так и армию. Все чаще стали говорить о Распутине, о влиянии его на царское семейство. Потом – убийство Распутина, обнажившее моральное падение монархии. Министры сменялись. Штюрмер¹⁵, Протопопов¹⁶ и Горемы-

¹⁴ 17 (4) апреля 1912 года на приисках Ленского золотопромышленного товарищества правительственные войска расстреляли участников забастовки. По разным оценкам, погибло от 107 до 270 человек. Трагедия получила название «Ленский расстрел».

¹⁵ Штюрмер Борис Владимирович (1848–1917) – российский государственный деятель. В 1916 году (с 20 января по 10 ноября) был председателем Совета министров Российской империи, одновременно, до 7 июля 1916 года, был министром внутренних дел, затем – министром иностранных дел. В ходе Февральской революции был арестован, умер в тюрьме от сифилиса головного мозга.

¹⁶ Протопопов Александр Дмитриевич (1866–1918) – российский государственный деятель, крупный помещик и промышленник, с 16 сентября 1916 года – министр внутренних дел Российской империи. В ходе Февральской революции был арестован. После Октябрьской революции расстрелян.

кин¹⁷ внушали отвращение в стране. Открыто говорили о необходимости коренной ломки строя. Прозвучала красивая историческая речь Милюкова «Измена или глупость!»¹⁸. И вдруг газеты засверкали сообщениями о радостных, захватывающих событиях. Демонстрация и восстания в Петрограде, Февральская революция. Отречение царя Николая в ставке в Могилеве. Временное правительство. Керенский. Общее ликование, конец войне, «Да здравствует свобода!» и т. д. и т. п.

Общий энтузиазм охватил, конечно, всех – и нас в том числе. Я могу его сравнить *post factum* лишь с днями заключения мира после победы в Великой Отечественной войне с Германией. Это был бурный, мажорный подъем немного романтического склада. Казалось, воцарится мир, благоденствие народа, социальная справедливость – все испытания позади. Но испытания были впереди, новые испытания. Хотя, казалось бы, все очень рады – сразу же общество разделилось на партии, ставящие перед собою совершенно различные цели и имеющие не только разные программы, но и абсолютно несходные людские контингенты, разьединенные экономически, политически и психологически.

Но испытания были впереди, новые испытания

Большевики, меньшевики, эсеры, кадеты, правые партии – все вступили в споры и борьбу за власть. Неясен был вопрос, что делать с фронтом. Открыть врагу – немцам, туркам? Держать его? Но дисциплина как-то сразу рухнула, солдаты стали стрелять в офицеров. Забирая с собою винтовки, они двинулись по домам. «Главноуправляющий» Керенский еще местами имел успех, но других уполномоченных Временного правительства встречали враждебно, а иногда их приканчивали. Железные дороги все больше и больше забивались демобилизованными.

В Тифлисе пока эти процессы были малозаметны. Мы готовились к выпускным экзаменам. А впрочем, кто готовится к выпускным экзаменам?! Это просто так говорится. Правильнее сказать, мы больше ничем не занимались и ждали: скоро конец гимназии, школьной жизни, новые планы, надежды!

Пора возвращаться домой. Отца ждут в Красном Холме, его избрали председателем городского совета заочно. А тут стали намечаться национальные устремления. Появились грузинские меньшевики, армянские дашнаки и азербайджанские мусаватисты. Сепаратистские тенденции пока еще гаснут в общем революционном фейерверке, но уже слышны лозунги «Свободная Грузия!», «Свободная Армения!», «Конец великодержавию!», и даже в слове «под гнетом царской России» чувствовался акцент не столько на слове «царской», сколько на слове «России». Даже в нашем классе, где мы, конечно, никогда в своих отношениях не разъединялись на русских, армян, грузин и т. п., теперь – в свободное, революционное время – появились зачатки национально-политических группировок.

После выпускных экзаменов, накануне отъезда домой, на север, я зашел прощаться с семьей Ротинянц. Мы душевно разговаривали, хотя я тосковал – Кати не было. Уже в передней мы столкнулись. «А я спешила, чуть не опоздала», – и она повела меня в свою комнату. Я смотрел на нее – это была та же самая Катя, но она вся светила симпатией.

¹⁷ Горемыкин Иван Логгинович (1839–1917) – российский государственный деятель, председатель Совета министров Российской империи в 1906 и в 1914–1916 годах, министр внутренних дел в 1895–1899 гг. В ходе Февральской революции был арестован. Убит во время разбойного нападения на его дачу.

¹⁸ Милюков, Павел Николаевич (1859–1943) – российский политический деятель, историк и публицист, лидер кадетов. 1 ноября 1916 года Милюков выступил в Государственной думе с речью, в которой обвинил императрицу Александру Федоровну и премьер-министра Штюрмера в подготовке сепаратного мира с Германией. Каждый абзац его речи заканчивался рефреном: «Что это, глупость или измена?»

«Вот вы уедете, и мы больше не будем ссориться, – сказала Катя. – Я ведь давно знаю, как вы ко мне относитесь. Но как я отношусь к вам, вы не знали. Не знаете, да я и сама не знаю». И в счастливом смятении я взял ее руку и прижал ее к своим щекам. «Скоро встретимся в Москве», – сказала она и поцеловала меня.

На утро в 6 часов мы выехали – папа, мама, Левик и я. Автомобиль повернул на Головинской мимо заветного дома моих друзей. У ворот спящего дома ждал Марик. Он помахал нам рукой, но я соскочил с машины, и мы крепко обнялись. Я не знал тогда, что видел его в последний раз. Через год в составе национальных войск, защищавших Армению от германо-турецкой армии, Марик погиб на фронте. Через год Закавказье отделилось от Советской России в виде особого Кавказского союза, и вскоре распалось на отдельные национальные республики, не признававшие власть московских большевиков.

Я не знал тогда, что увижу Катю только через несколько лет, после сложных перипетий, после ее жизни в Бельгии, где она окончила университет. Уже замужем за известным журналистом-писателем она приехала наконец в Москву, все еще красивая; но взгляд ее уже не светился прежним сиянием, а выдавал утомление и нервность.

Молодость есть молодость, и мне было грустно и весело одновременно

Наш автомобиль прокатил по горным ущельям Грузии, взобрался по Млетскому подъему, прошел заваленный снегом перевал и помчался мимо вечного и невозмутимого Казбека, через прегражденную весенними обвалами дорогу по ущелью, вперед, на Север.

Молодость есть молодость, и мне было грустно и весело одновременно.

3. Московский университет. Революция

Неожиданно для самого себя я поступил на медицинский факультет. Отец сказал мне, что можно знать историю и литературу, будучи врачом (были же врачами Чехов, Шиллер и Конан Дойл!), а время такое, что прежде всего требуется конкретная практическая специальность.

Лето 1917 года я провел в Красном Холме, жадно читая газеты многочисленных партий и следя за лавиной политических событий. Барско-интеллигентному, хотя и демократическому кругу, из которого я вышел, события вскоре стали казаться тревожными. Мужики поделили помещичьи земли, стали жечь оставленные хозяевами усадьбы дома. Это, впрочем, казалось нам более или менее справедливым. Хуже было то, что вернувшиеся с фронта солдаты чувствовали себя господами положения; они входили в состав рабочих, крестьянских и солдатских депутатов и постоянно выдвигали различные крайние требования, казавшиеся нам демагогическими. Вскоре стало известно о приезде Ленина и готовившихся вооруженных выступлений большевиков в Москве. Зловещие слухи о контрреволюции, растерянность партий, накалившаяся атмосфера социально-политических противоречий пришли на смену февральскому духу оптимизма и единения.

В Москве я поселился у дяди Сергея Александровича в Сытинском тупике, близ Страстной площади. Его дети – Любочка, Ася и Володя – раньше жили в Красном Холме, и между нами, детьми, были самые близкие отношения, а жена дяди Любовь Николаевна в свое время окунала меня, новорожденного, в купель. Теперь она была солисткой оперы Зимина, что давало мне возможность по вечерам по контрамаркам торчать в театре. И это было первым увлечением в Москве.

Я слушал «Золотой петушок», «Снегурочку», а позже «Орестею» Танеева (которую, кажется, кроме этого театра, нигде не ставили; нам она казалась скучной и длинной). Позже приехал из-за границы Шаляпин и пел Бориса Годунова (Любовь Николаевна исполняла партию Марины Мнишек – опера ставилась с дополнительными, обычно выпускаемыми сценами) и многое, многое другое. Я не забывал и Большого театра и даже участвовал в качестве статиста в «Тангейзере».

Оперный амок первых двух московских лет позже сменился другим: я стал ходить на симфонические и фортепьянные концерты. Прослушал весь цикл музыки Скрябина; я даже стал считать себя ее знатоком и поклонником, читал книгу Сабанеева и, казалось, понимал, что возможен общий язык звуков и красок, что определенные ноты соответствуют красному или зеленому и т. п. тону; впрочем, больше всего мне все-таки нравились не «Прометей» и «Божественная поэма», а ранние шопеновско-листовские фортепианные вещи Скрябина, особенно его этюды. Увлечение концертной музыкой совершенно вытеснило интерес к опере, и я перестал ходить на нее, тем более что в дальнейшем в обоих оперных театрах стали ставить революционные спектакли новых композиторов, которые мне казались натянутыми и растянутыми.

Другим увлечением первых лет было посещение цикла лекций по истории и литературе в Московском университете. Помню, как я первый раз вступил в ограду старого здания на Моховой и направо за калиткой обратился в канцелярию ректора. Я долго держал в руке мое заявление о приеме на медицинский и уже сел было за стол переписывать его на историко-филологический, но не решился на этот шаг, не посоветовавшись с родителями. Кстати, вся «канцелярия» ректора состояла из двух-трех комнат, в одной из которых сидел проректор, в другой – секретарь, почтенный чиновник, в третьей – какие-то две дамы. Как мы далеко ушли в наше время по пути прогресса канцелярского дела!

У меня в аттестате были пятерки и медаль, и я был зачислен сразу. Первым делом я пошел слушать не «свои» лекции, которые не интересовали меня даже из любопытства, а «чужие», благо посещение лекций было необязательным, а все университетские аудитории были свободными для любых студентов (а до ноябрьских дней – и любых граждан вообще, так как студенческие билеты обычно валялись дома, и никто не спрашивал пропусков). Не помню, в Московском ли университете – или же в Университете Шанявского на Миусах (который я посещал также по вечерам) особенно нравились мне лекции профессора Джигеллечева.

Постепенно все же я втягивался в занятия на медицинском факультете

Постепенно все же я втягивался в занятия на медицинском факультете. Первым делом, конечно, по анатомии. И не только потому, что сознавал важность этого предмета. И даже не потому, что профессор Стопницкий¹⁹, полный рыжеватый поляк, строго, а подчас издевательски спрашивал меня на зачетах и гнал за малейшую ошибку. Но главным образом потому, что в занятиях в анатомичке был особый для нас форс – как будто бы этот этап испытаний надо было спортивно преодолеть. Маменькины сынки и слабые барышни должны были пройти через это горнило. Прежде всего надо было заставить себя не бояться мертвецов в секционном зале. К счастью, они лежат там голые и потому не похожи на тех покойников в гробу, которые были страшны нам в детстве, в чаду церковного дыма и душераздирающих причитаний и песнопений. Далее, надо было приучить себя не обращать внимания на трупный смрад, самую отталкивающую вонь из всех противных запахов на свете. Девушки (среди нас их было первое время немного) душили крепкими духами носовые платки, но руки ведь заняты, правда, в перчатках, но не снимать же перчатки поминутно. В те годы трупы доставлялись в анатомичку, так сказать, в свежем виде, – их лишь немного обрабатывали формалином, а когда была спешка, обходились и без него. Во всяком случае, это были не те сухие и бурые препараты, с которыми работают медики первого курса сейчас.

В сентябре мы зубрили остеологию, все эти сулькусы и процессусы. Обычно кости мы таскали в портфеле домой и там, раскрыв Шпальтегольца и Зернова, упражняли память. Само собой разумеется, что все запомнить можно было только до зачета. Но все же термины застряли в голове, и при случае можно было их выудить: правда, мне лично в последующие десятилетия медицинской деятельности ни один костный сулькус ни разу не понадобился. На зачете Стопницкий подбрасывал в воздух фаланги пальцев или косточки кисти и требовал, чтобы мы угадывали их еще в полете.

В октябре нас ввели в секционный зал и дали кому ногу, кому руку, кому шею или грудь – изучать мышцы и связки. Вооружившись скальпелем и пинцетом, мы разъединяли отдельные мышцы трупа (по свежим следам вспоминая остеологию) и, в конце концов, увлекались наглядностью работы (возможно, в эти дни среди нас уже зарождались будущие хирурги). Грязными, даже окровавленными руками студенты закуривали, вынимали завтрак и тут же у красного трупного мяса съедали с аппетитом бутерброд с ветчиной (сильно напоминавшей по виду объект нашей препаровки); только некоторые из нас предпочитали приносить с собой хлеб с сыром, яйца (то есть такие вещи, которые бы не были похожи на «миологию») и даже выходили завтракать в коридоре или во дворе.

¹⁹ Стопницкий Северьян Осипович – профессор кафедры анатомии в Московском университете и во 2-м МГУ в 20-е годы XX века.

Я уже смирился со своей судьбой (ничего не поделаешь – быть мне врачом), но на скучные ботанику и зоологию, физику и неорганическую химию не ходил; нам эти предметы казались повторением гимназии. Мы настолько втянулись в работу в анатомичке, что даже перестали соотносить, что происходит вокруг.

После корниловского мятежа и развала Временного правительства мы просто ждали, что что-то должно произойти. В столовке на Бронной и особенно на Моховой шли какие-то митинги, какая-то борьба, висели объявления партий, избирались куда-то делегаты, мы читали о заседаниях так называемого предпарламента, об ожесточенных разногласиях между партиями, выступлениях в Петроградском Совете, в котором большинство имели большевики. Столько всяких воззваний, митингов, речей!

И вдруг разразилась Октябрьская революция

И вдруг разразилась Октябрьская революция. 26 октября стали поступать известия о восстании в Петрограде, о штурме Зимнего, о создании Совета Народных Комиссаров.

Через несколько дней в новом здании университета было созвано общее собрание. От имени Московской думы, руководимой меньшевиками и эсерами, взявшей на себя власть в Москве, ораторы призывали студенчество в «сей грозный для судьбы родины исторический момент» сохранить верность демократии, свободе и Учредительному собранию, которое должно быть созвано в скорейший срок и одно правомочно разрешить вопрос о форме правления и основных законах государства. На митинге выступал и представитель большевиков, который заявил, что правительство Керенского предало революцию, готовило измену, призвав войска генералов Краснова и Каледина, и должно быть свергнуто. «Вся власть Советам!» Под страшный шум и выкрики аудитории оратор сообщил, что рабочие, моряки и солдаты в Петрограде взяли власть в свои руки. Керенский бежал.

Ошеломляющее известие накалило обстановку. Выступали за единение революционных сил, за защиту свободы, против «губительных» действий большевиков, против «раскола революционной демократии». Приняли резолюцию оставаться в стенах alma mater и защищать университет. «От кого? Каким образом?» – спрашивали друг у друга не принадлежавшие к каким-либо партиям студенты и поглядывали на ворота – как бы улизнуть домой. Мы, первокурсники, стоявшие вместе в дверях аудитории, не склонны были влипать в «эту кашу». Правда, нам нравились больше речи эсеров и меньшевиков, но пугали и речи большевиков.

Подчиняясь чувству коллегиальности, мы согласились задержаться, нас даже поставили охранять вход в университет (без оружия, которого все еще не было). Срок нашей вахты кончился в 11 часов вечера, и мы теперь могли отправляться, если нам угодно, по домам. Нам это было очень угодно. Я вспомнил, что меня дожидаются дома и, наверное, очень волнуются, и позвонил Любове Николаевне по телефону. «Немедленно иди домой, – услышал я, – ни секунды не задерживайся, а то будет поздно». Я не понял, что это значит, но, так как наши предводители (которых я совершенно не знал) нам нехотя разрешили уходить, вышел на Никитскую улицу.

На улице творилось что-то необычайное. Какие-то солдаты везли пулеметы к Манежу, и совсем близко прогремел оружейный залп. Я вобрал в себя голову и побежал вперед – к дому (это было начало штурма Кремля, где находились верные Временному правительству юнкера). Затем я услышал стрекот пулеметной очереди за Никитскими воротами. Публика бежала в разные стороны. Я пересек Тверской бульвар и по Бронной добрался до Сытинского тупика. С высоты пятого этажа мы смотрели на огни восстания.

Борьба продолжалась неделю. Недалеко от нас горело здание суда на Тверском бульваре. Все дни и ночи ухали разрывы артиллерийского обстрела, доносились пулеметные

стуки. Электрический свет потух, хотя водопровод продолжал действовать. Жители дома выходили днем на улицу и в соседних лавках покупали на керенки хлеб, масло и овощи. Ночью дежурили по очереди в подъезде и прогуливались по Сытинскому тупику (якобы против грабителей – однако никаких грабежей в эти великие дни не было нигде). Телефонная связь прервалась, очевидно, были повреждены провода. Газеты не доходили – доходили лишь слухи. Сперва эти слухи были неопределенные, и жители дома, собираясь на дежурство, спорили. Одни (большинство) выступали за Временное правительство, другие (меньшинство) выражали общее недовольство революционными событиями и вздыхали о крепкой власти, болтали о генералах, которые якобы уже захватили Петроград и скоро наведут и здесь, в Москве, порядок.

Наконец, юнкера в Кремле прекратили сопротивление.

Когда мы все еще жались в Сытинском тупике, и я не отваживался доходить дальше Тверской, вдруг приехала моя мать. Она жила ту осень в Клину у наших родственников. События ее сильно взволновали из-за меня, и мать двинулась в охваченную восстанием Москву. Ей удалось с вокзала на извозчике кружным путем по разным переулкам добраться до нас. Нет сильнее любви, нежели любовь матери к сыну, – как это хорошо описано в литературе и как это я испытывал на себе всю мою жизнь.

Утром следующего дня выстрелы смолкли. Трамваи еще не ходили. Мы вышли на Тверскую. Народ шел к Центру. Из расклеенных объявлений мы узнали о событиях, о выступлении Ленина в Смольном, о его «Обращении к народам и правительствам всех союзных стран» с предложением немедленного мира, о декрете 2-го Всероссийского съезда Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, о земле и т. д. Войска Керенского, наступавшие на Петроград из Гатчины, были разгромлены моряками и рабочими над Пулковскими высотами. Члены Временного правительства арестованы, сопротивление потерпело полный крах. Однако на Дону Каледин объявил себя командующим – там быстро оформляется центр контрреволюции.

Члены Временного правительства арестованы, сопротивление потерпело полный крах

Мы подходим к Кремлю. Туда не пускают, выносят убитых юнкеров. Говорят, большие разрушения. Снаряды повредили фрески в Благовещенском соборе; один из куполов Успенского собора разрушен, часы на Спасской башне разбиты и т. д. Кто-то сказал, что даже Луначарский, новый комиссар по просвещению, подавлен гибелью старинных художественных памятников, чуть не грозит отставкой.

В университете на Моховой – страшная картина. Группа студентов, оставшихся тогда на ночь, была мобилизована и оказала отпор революционным отрядам. Часть этих смельчаков погибла. В анатомическом театре, где мы еще десять дней тому назад мирно отсекали грудинно-ключично-сосцевидную мышцу, лежат в пальто и фуражках покойники. И я бы мог лежать среди них, подумал я, с ужасом рассматривая молодые мертвые лица. Но уже совсем трудно было выдержать, когда какая-нибудь женщина с обезумевшими глазами или пожилой господин, съжившись от горя, останавливаются над трупом своего найденного здесь сына. Возобновив через несколько недель анатомические занятия в этом злосчастном зале, мы, студенты, уже больше не болтали, не шутили, как раньше, перестали там даже есть и говорили лишь скупой и полупшепотом. С секционных столов смотрели на нас неизвестные наши товарищи, так безрассудно, по коллегиальной инерции, под гипнозом красивых слов о свободе и демократии, не понимая социальных основ развивавшихся исторических событий, потерявшие свои молодые жизни.

В то же время на Красной площади у Кремлевской стены рыли большую яму. На следующий день туда шли хоронить погибших «мучеников авангарда мировой социалистической революции». Огромные толпы простого народа, рабочих, солдат шли с красными знаменами за красными гробами. Братская могила поглотила пятьсот мертвецов.

А наша жизнь постепенно пошла своим чередом. Мы угрюмо начали заниматься, ходить на лекции. Все стали жадно читать газеты. Казалось, теперь мы вне пути. От того берега (царизма, Февральской революции) мы отстали, к другому берегу (порожденному Октябрьской революцией) мы пристали. Или, может быть, еще не пристали? Новая власть так смело переделывает страну. «Мы наш, мы новый мир построим, кто был ничем – тот станет всем». Чувствовалась твердая, жесткая рука подлинного народа – хозяина своей страны.

Летом я съездил в Красный Холм. Там было тревожно. Национализировали дома, лавки купцов. Были созданы исполнительный комитет, военкомат, но жизнь шла еще по-старому: ходили в церковь, на базар, были еще лавки помельче. Горожане занялись огородами, ходили на собрания, на общественные работы; на базаре меняли костюмы и часы на муку и масло. Молодежь не унывала, распевала новые частушки, ходила на танцы. Буржуи прятались в оставленных им комнатах, молились, ждали.

С осени возобновились занятия на втором курсе медицинского факультета. Студенты вошли в Совет профессоров. Тогда высшая школа была объявлена свободной и как бы самоуправлялась. Новая власть была занята неотложными задачами защиты республики от контрреволюции, выкорчевыванием белогвардейцев и буржуев из общественной и государственной жизни, созданием Красной Армии, борьбой со спекуляцией и обеспечением продовольствием рабочих в Москве и Петрограде. Легально существовали левые эсеры и меньшевики. Горьковская «Новая жизнь» ядовито писала «о маленьких недостатках большого механизма».

Горьковская «Новая жизнь» ядовито писала «о маленьких недостатках большого механизма»

Среди студентов продолжали существовать группировки, которые вели борьбу «за свободную демократическую школу». Многие стороны жизни стали более острыми и даже свободными. Создавались оригинальные театральные постановки, все театры были переполнены. В Политехническом музее близ Лубянской площади выступали со своими стихами какие-то новые персонажи, в том числе «ничевоки»²⁰ (один из которых, наш второкурсник, по-моему, просто нарочно валял дурака; мы-то это знали и удивлялись, как ему аплодируют, а не побьют просто-напросто). Скульпторы лепили какие-то мутные фигуры – крестьян с необъятно толстыми ногами (якобы символ крепкого стояния на земле или связи с нею), рабочих с мощными мышцами и скошенным затылком, красногвардейцев с шинелью, точно саван, и свирепыми, якобы непреклонными, главами. На скверах Москвы ставили алебастровые памятники Марату и Робеспьеру; часть их, впрочем, вскоре размокала от дождей и разваливалась. Была свободная любовь, свобода аборт, свобода и равенство полов, появились романы «без черемухи», в которых определенный акт объявлялся таким же легким и беззаботным делом, как выпить «стакан воды». И все это кружилось и жужжало на фоне громовых раскатов разраставшейся – героической и трагической – Гражданской войны.

²⁰ Литературная группа, сложившаяся в Москве в начале 1920 года. Российский вариант дадаистов. Были близки имажинистам. Ничевоки выпустили два альманаха – «Вам» (1920) и «Собачий ящик» (1921). В состав группы входили Рюрик Рок, Лазарь Сухаребский, Азций Ранов, Сергей Садиков, Елена Николаева, Сусанна Мар, Олег Эрберг, Борис Земенков и М. Агабабов.

В столовке на Малой Бронной давали «форшмак» из мороженого картофеля с селедкой и водянистый компот из сухих яблочных корок. Впрочем, временами вдруг выдавали яблоки – тогда вокруг Москвы оставалось еще много плодовых садов; жители запасались мешками яблок. Родители посылали мне посылки.

Мне понравились практические занятия по гистологии – ароматические составы, в которых заключались препараты, тончайшие срезы на микротоме, чистые микроскопы, напоминавшие мне занятия отца с парамециями, и вместе с тем – вечную ценность настоящей науки, не зависящей от лозунгов и агитации сегодняшнего дня. Я стал больше интересоваться медициной и биологией.

Я стал больше интересоваться медициной и биологией

Летом, на каникулы, я вновь поехал в Красный Холм. Отец был по-прежнему занят больными. Из уважения к нему исполком оставил нам каменный дом и сад. Комиссары были как будто любезны, но общее политическое положение ухудшилось. К тому времени Колчак занял Сибирь, Урал и часть волжских городов, на Украине хозяйничал Петлюра, и бродили в степях какие-то банды. В ответ на белый террор был объявлен террор красный.

По городу пошли аресты. Группа бывших богатых купцов и некоторые интеллигенты, известные раньше своей принадлежностью к партии эсеров, были взяты заложниками. К ним присоединили попа Маслова, известного своими либеральными взглядами, двух-трех кулаков из деревень, в свое время вышедших из крестьянской общины на отруба по столыпинскому закону, и трактирщика Кузнецова, спаивавшего народ водкой и дружившего при царе с приставом. Всех их увезли в Тверскую губчека, часть их потом расстреляли. Расстрел заложников, не имевших какой-либо конкретной вины перед советской властью за исключением их неважного прошлого (то есть только, возможно, психологически настроенных против социальной революции), поразил народ, не только горожан, но и крестьян. Вскоре по городу пошла волна обысков; обыск был и у нас, ничего предосудительного не нашли, обращались корректно, перечитали письма, найденные в доме и в амбулатории. Стоял жаркий июльский вечер. Ушли уже под утро, забрав некоторые книги по истории и газеты периода Временного правительства, валявшиеся среди старого хлама в сарае.

А молодежь веселилась. Катались на лодке. У меня завелись приятельницы, две сестры Барит, и я никак не мог решить, кто мне больше нравится – Аня или Эмме. Приехали гостить мои товарищи из Москвы, члены нашего Совета старост – во главе с милейшим Львом Брусиловским, а также Кекчевым²¹, Смеловым и другими. Это были талантливые юноши, умные и энергичные (в дальнейшем они стали профессорами в Москве). Мы ходили с ними по полям, побывали на деревенском празднике в селе Лаптеве. Не помню, что, собственно, мы делали, но у всех нас осталось какое-то светлое чувство от этой встречи в разгар Гражданской войны в тихом пыльном городишке.

Третий курс. Первое знакомство с медициной. Мы ходим на кафедру диагностики. Профессор Кишкин²² говорит о служении врача, сравнивает врача со свечой, которая светит и сгорает, он показывает нам тяжелого больного. Мы должны видеть *Hypocratica*²³, ощу-

²¹ Кекчев Крикор Хачатурович (1893–1948) – российский психофизиолог, специалист в области физиологии и психофизиологии труда. Автор концепции внутренних психофизиологических механизмов работоспособности и утомления человека.

²² Кишкин Николай Семенович (1854–1919) – профессор Московского университета, заведовал Пропедевтической терапевтической клиникой на Девичьем поле и кафедрой пропедевтики с 1902 по 1919 год.

²³ «Маска Гиппократова» (точнее, *facies Hypocratica*, «лицо Гиппократова») – особый вид лица больного, характерный для крайне тяжелого состояния. В древности считалась верным признаком скорой смерти.

щать запах больного и т. п. Через день больной умирает. Профессор показывает нам только что принесенные из прозекторской его органы – гангрена легких. Нелепый, трагический случай: через несколько дней профессор Кишкин умирает от сепсиса (он поранил себе на лекции скальпелем палец и занес инфекцию). Мы идем на похороны, я, как староста курса, говорю речь и повторяю пример: свеча сгорела.

В Ново-Екатерининской больнице преподает внутренние болезни профессор Петр Михайлович Попов²⁴ – он хромым гигант, важный барин с красивой головой, бывший лейб-медик царя, ученик Захарьина ^[3]. Его лекции мы слушаем как-то даже торжественно, хотя ничего, кажется, особенного в них нет, говорит Попов просто и неторопливо, без лишних слов. Зато его помощник, доцент М. М. Невядомский ^[4], заливается соловьем. Он любит эндокринологию и ничего, кроме нее, не читает.

Вскоре хирург Граес упал с лошади (он ежедневно перед операциями ездил верхом кататься), переломил себе позвоночник, и мы вновь ходили на похороны. Умер кто-то еще из профессоров. Что они все умирают? – думали мы, не ощущая тогда «бренности житейской», не имея в голове мысли о смерти, которая придет позже, к старости.

Выслушивание, простукивание, ощупывание, больные, болезни – вот предмет нашего увлечения. Вступление в медицину – захватывающая пора!

Вступление в медицину – захватывающая пора!

С наступлением холодов жизнь стала труднее. Клиники не отапливались – не было дров. Новый профессор диагностики Е. Е. Фромгольд²⁵ был всегда в белоснежных воротничках и манжетах, но мы сидели в аудитории в верхней одежде, кто в пальто, кто в полушубках или каких-то ватниках; студентки носили черт знает что и выглядели гораздо хуже, чем были в действительности (может быть, поэтому мы за ними почти не ухаживали в то время). Ассистенты раздевали больного, рядом с койкой ставили таз со спиртом и бросали туда зажженную вату; огонь светил мертвенно-синим пламенем, но почти не грел. «Вот здесь вы слышите бронхиальное дыхание, – говорил профессор, приглашая какого-нибудь студента послушать больного в стетоскоп. – А здесь – крепитирующие хрипы, так называемые *crepitatio indux*». Больной дрожал и от своей высокой температуры, и от низкой температуры в аудитории.

За дровами для клиник надо было ездить в Кунцево. В Кунцеве нам отвели для заготовок дров прелестные участки леса на берегу Москвы-реки. Уже выпал снег. Вооружившись топорами и пилами, мы весело рубили вековые деревья и, как и другие группы организованных москвичей, уничтожали могучие березы, чудесные липы, столетние сосны, видевшие, возможно, еще Пушкина и уж, во всяком случае, Тургенева (мы вспоминали его описание этих мест в «Первой любви» и «Накануне»). А что Тургенев, что липы? «Лес рубят – щепки летят», – говорили мы не про лес, а про жизнь, про судьбу России.

Мы были всегда немного голодны. В Москве жилось уже трудно. Любовь Николаевна как-то доставала еду через театр. Она постоянно где-то выступала на концертах; платили «за халтуру» пайком – хлебом, крупами, иногда колбасой, из дома мне посылали каравай чер-

²⁴ Попов Петр Михайлович (1863 —?) – профессор, директор факультетской терапевтической клиники Московского университета.

²⁵ Фромгольд Егор Егорович (1881–1942) – видный терапевт, профессор Московского университета. Занимался вопросами патологии обмена веществ. Соредактор Большой Медицинской Энциклопедии. В 1941 году был репрессирован, умер в лагере.

ного хлеба, в которые запекались яйца (нельзя было посылать яйца как таковые). Мешочки наполнили поезда; дачные поезда привозили молочниц с разбавленным водой молоком.

Ехать в битком набитом вагоне третьего класса с мукою вокруг тела была мука

Я съездил домой на два дня в связи со смертью бабушки и оттуда возвращался, одетый в броню – мешок в форме жилета, наполненный мукой. Муку провозить не давали. В поезде производили облавы на спекулянтов, наши же считали, что взять с собою в Москву муку на олады не значит идти против Советской власти. Ехать в битком набитом вагоне третьего класса с мукою вокруг тела была мука. Всю ночь, пока поезд тащился, простояли на ногах, под утро – пересадка на станции «Бологое», надо было брать штурмом подножку или буфера в переполненном поезде, следующем из Петрограда. Но вот, слава богу, в Москве.

Голод и мешочничество породили вспышку сыпного тифа. В Москве открылось несколько сыпнотифозных больниц и барачков. Студентов призвали на тиф. Особенно много больных поступало с вокзалов. Тиф свирепствовал и среди бойцов, сражавшихся на фронтах Гражданской войны. Я нес дежурства. Больные бредили, умирали. Не было мыла. Вши стали врагом похуже белогвардейцев. Народный комиссар здравоохранения Н. А. Семашко²⁶ широко привлек к работе специалистов-инфекционистов, санитарных врачей (Сысина²⁷, Флерова²⁸, Тарасевича¹⁵¹, Барыкина²⁹, Гамалею¹⁶¹). Считалось, что врачи готовы положить все силы на борьбу с эпидемиями и что они преданы стране, что не может быть и речи о каком-либо саботаже, и каковы бы ни были их старые политические убеждения, врачи абсолютно готовы сотрудничать с советским правительством. Можно сказать, что эпидемии, не сломив нового строя, привлекли к нему стихийно медицинских ученых, медицинскую общественность.

На каникулы я еле добрался домой. Мне хотелось отдохнуть и поправиться. Но в Сочельник у меня повысилась температура, и вскоре я потерял сознание. Сыпной тиф был в тяжелой форме, опасались за исход. Только на девятый день я пришел в себя, но по временам продолжал еще бредить. Бред был красочный. Я чувствовал себя разорванным на части, куда-то лез не то вверх, не то вниз, кто-то бил меня по голове и поджигал, но потом я ощущал, что нас двое: один – это я, другой – тот, с которым я спорил на собрании. Потом бред стал более приятным: море, детство, дома – и наконец, окруженный испуганными родителями, я очнулся, да, действительно, дома. «Как хорошо, что вы тут», – сказал я.

Ухаживать за мной приехал из Москвы Борис Тихвинский. Он только что вступил в партию большевиков, что не мешало нам быть друзьями. С его помощью я стал вставать. Мои кудрявые волосы стали падать, выросли потом гораздо более редкие и слишком мягкие – начало плеша. Чтобы наверстать пропущенные занятия, я читал Эйхерта и Штрюмпеля

²⁶ Семашко Николай Александрович (1874–1949) – российский революционер, большевик, советский партийный и государственный деятель, один из организаторов системы здравоохранения в СССР, академик. С июля 1918 до 1930 года занимал пост наркома здравоохранения РСФСР.

²⁷ Сын Алексей Николаевич (1879–1956) – профессор Московского университета, один из основоположников гигиены в СССР и организаторов санитарно-эпидемиологической службы, академик АМН СССР.

²⁸ Флеров Константин Федорович (1865–1928) – выдающийся российский инфекционист. Ученик Захарьина, работал в Институте Пастера в Париже. Вел педагогическую и научно-исследовательскую работу, приват-доцент, затем профессор Московского университета с 1902 года. Создатель школы инфекционистов.

²⁹ Барыкин Владимир Александрович (1879–1939) – русский советский микробиолог и иммунолог, профессор. Автор вакцины против брюшного тифа. Научный руководитель Центрального института эпидемиологии и микробиологии Наркомздрава СССР. В 1938 году был репрессирован. Расстрелян. В 1955 году реабилитирован.

(толстые многотомные руководства). Вообще мы не стеснялись размерами учебных пособий и читали подряд том за томом.

Вообще мы не стеснялись размерами учебных пособий и читали подряд том за томом

В Москве опять лекции. Профессор Гавриил Петрович Сахаров³⁰ по общей патологии читал об иммунных телах так, точно он их ошупывал или видел. Он был учеником Эрлиха³¹, говорил заикаясь, но четко и интересно. Временами Сахаров прибегал к шуткам, чтобы снять неизбежное утомление аудитории. Иногда эти шутки были вызывающими. Например, демонстрируя так называемую висячую каплю с кишечной палочкой (*B. Coli Communis*), он шутил: «Передаю вам по рядам висячего Колю-коммуниста». Студенты, в том числе большевики, смеялись, не обращая внимания на выходки уважаемого профессора, кстати, холостяка и церковного старосты.

Надо было добираться пешком от Страстной на Девичье поле. Трамваи не ходили. В комнатах поставили дымящиеся буржуйки. Свет давали скудно. Магазины были заколочены. Базары разгонялись. И все же жизнь продолжалась, спорили, заседали, учились, ходили в театр и на концерты. И я помню, в воздухе было что-то такое захватывающее, героическое, как будто стучала поступь истории. Нам нравились тогда «Двенадцать» А. Блока.

Лето – опять дома. Отец по вечерам стал подолгу ходить в поле, собирая гербарий (скирды, ястребинки и другие травы). У нас жил мой товарищ по университету Виталий Архангельский ¹⁷¹ – он смеялся, когда отец произносил «плод волосистый, с хохолком» (по поводу какого-то растения), – Виталий вообще подмечал всегда что-то комичное и милое и весело шутил. Он готовил себя в специальности офтальмологии, работал у Одинцова; приехал к нам с целью попрактиковаться на приемах у отца. Больные по-прежнему приезжали по базарным дням, иногда за прием совали пять-десять яиц, шмат сметанного масла или немного мучки.

Мой брат Левик учил музыку, ему шел пятнадцатый год. Левик декламировал: «Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах», и я иногда думал, что эта строфа о буржуазных интеллигентах, о либералах, которые робко прятались в своей профессии и тоскливо читали газеты и все что-то такого ждали. Нет, они ждали не реставрации монархии, а свободы, как они ее понимали (слова, верований, личности). Но все это объективно уже сделалось антисоветским. Все партии исчезли. Оставались один Ленин и его партия, а главное – класс, отстаивавший свое государство.

Четвертый курс – весь на Девичке, и я переселился в Лепшкинское общежитие (на Зубовской площади). У нас с Сережей Поздняковым была комната на двоих. Дружелюбный и сговорчивый Сережа оказался очень подходящим компаньоном.

Моя мать переехала с Левиком в Клин, поступила доучиваться на врача на медицинский факультет, на пятый курс и по временам жила в том же общежитии.

³⁰ Сахаров Гавриил Петрович (1873–1953) – русский советский патофизиолог. Заведующий кафедрами общей патологии медицинских факультетов Варшавского (1910–1914) и Московского (1914–1929) университетов, патологической физиологии Московского зооветеринарного (1926–1937) и 2-го Московского медицинского институтов (1933–1950). В 1929–1934 гг. директор Московского института экспериментальной эндокринологии.

³¹ Эрлих Пауль (1854–1915) – выдающийся немецкий врач, иммунолог, бактериолог, химик, основоположник химиотерапии. Лауреат Нобелевской премии (1908).

Оставались один Ленин и его партия, а главное – класс, отстаивавший свое государство

Поздней осенью стало в номерах холодно, и мы перекочевали на кухню. Мы ложились на плиту, столы, на пол. По субботам на воскресенье мы отправлялись в Клин, где тетка Ольга Александровна кормила нас запеканками, морковниками и кофе с булочками. Ее муж, доктор Н. П. Петров, похваливал большевиков и продолжал принимать больных; у них было сытно, уютно, тепло, как обычно, точно ничего в мире не случилось, только кофе был желудевый и булочки из полубелой муки. В Москве же мы варили пшеничную кашу или черные макароны. Нам выдавали паек, не помню какой (сколько разных пайков было за время моей жизни!).

Старостаты были распущены, студенческое самоуправление шло к концу. Была назначена «тройка по социальному обеспечению», в нее входил студент Кечкер³² (в настоящее время – мой сотрудник, главный врач Института терапии). Вскоре медики были военизированы (и улучшился их паек). Вместо старостатов для «технических учебных функций» были избраны курсовые комитеты.

На студенческих собраниях шла довольно острая политическая борьба, и коммунисты, опиравшиеся на военкома (и, конечно, на всю систему), все же не противопоставляли себя студенчеству; они даже участвовали в выборах курскомов на пропорциональных началах (и получали около 20 процентов голосов). Во всех остальных сферах общественной жизни, кажется, свободные выборы уже прекратились.

Сейчас я уже не понимаю, почему мы тогда так цеплялись за «студенческое самоуправление», «за свободу высшей школы». Страна вела напряженную борьбу с контрреволюцией. С юга на Москву шел Деникин. Его войска уже подступали к Курску. Новая власть боролась с экономической разрухой, с эпидемиями. Мы ей сочувствовали в этом, но что-то мешало нам отказаться от мальчишеской фронды, которая сложилась в студенческой общественной жизни. Впрочем, большинство студентов было поглощено занятиями, пайками, некоторые где-то работали санитарями или дежурили; нанимали нас и «санитарными врачами» для контроля за рынками, полными грязи и гнили (рынки уничтожали, но они опять вырастали, как крапива).

Между тем нависла опасность контрреволюции

В свете последующих исторических событий наша возня лилипутов, притом без какой-либо политической программы, вне влияния февральских партий (по крайней мере, так нам искренне казалось), представляется бессмысленной. Возможно, в ней проявлялся протест против диктатуры, юношеское стремление к свободе, тем более что мы были в большинстве отпрысками буржуазной интеллигенции.

Между тем нависла опасность контрреволюции. Деникин все еще наступал, он подошел совсем близко к Туле. В Прибалтике появился Юденич, наступавший на Петроград. В Москве в осенние дни 1919 года на некоторых заводах вспыхивали волнения – то ли на экономической, то ли на политической почве.

³² Кечкер Леонид Харитонович – советский кардиолог, ученик Д. Д. Плетнева. В январе 1937 года назначен директором I Ленинградского медицинского института.

А мы ходили в клиники и слушали лекции. Особенно нам нравились лекции профессора Д. Д. Плетнева¹⁸¹. Этот блестящий клиницист нас привлекал как диагнозами, так и острой и яркой речью. Всегда элегантный, менявший каждый день костюм, не говоря уже о рубашках, надушенный, сверкающий запонками, окруженный хорошенькими женщинами (студентками, ординаторами), он входил в аудиторию, полный какой-то внутренней силы и начинал говорить в абсолютной тишине хрипловатым, довольно тихим голосом. Плетнев не прибегал к пафосу. Он нередко запинаясь, перескакивая с фразы на фразу, иногда как бы искал их. Но говорил оригинально, задушевно и просто. Его было легко слушать, хотелось даже, чтобы лекция не кончалась. Его лекции были неожиданными и свободными. Ясно, что он никогда к ним не готовился, входя в аудиторию, не знал, о чем и как будет говорить. Это были блестящие импровизации. Он держался в аудитории, как артист – в лучшем смысле этого слова. Как у всякого человека, привыкшего публично выступать, притом с успехом, у него выработались определенные движения: то он подбоченится одной рукой и вытянет другой указку вперед, то он изящно проводит по своим рыжеватым усам, то указку занесет за спину и выпятит грудь с галстуком, всякий раз новым, то сядет, то встанет, то ходит, то остановится. Некоторые студенты-хирурги подсчитывали его позы и насмешливо нумеровали: это поза № 1, а это поза № 7, № 12 и т. д.; им бы только что-нибудь резать, а что они понимают в патогенезе? «В чем сущность данного заболевания?» – риторически восклицал Д. Д. Плетнев и уводил нас в дебри своих рассуждений.

В первом ряду обычно садились студентки, либо поклонницы, либо стремившиеся все записать. «О, это слишком учено, я не могла записать, это для врачей, а не для студентов», – ворчала некая Минтер, не пропускавшая лекций вообще и их не слушавшая, а лишь механически записывавшая их, как стенографистка. У нас была такая категория, главным образом студенток; мы же лекций никогда не записывали и или заинтересованно слушали, или не слушали вовсе, занятые своими делами.

Мы – это, конечно, мои товарищи. Среди них первое место занимал Осип Львович Гордон³³, будущий известный гастроэнтеролог, профессор Института питания, далее Роман Александрович Ткачев, будущий невропатолог, профессор Института неврологии, Олег Ипполитович Сокольников, будущий биохимик, профессор и директор одного из институтов³⁴. К ним примыкали Николай Андреевич Шмелев, будущий фтизиатр-терапевт, член-корреспондент Академии медицинских наук, директор Института туберкулеза, Григорий Васильевич Выгодчиков³⁵, будущий бактериолог, действительный член Академии медицинских наук. Как видно, подобрался довольно способный народ, из которого вышел толк. Все были тогда просты и милы, а впрочем, и в дальнейшей жизни сохранили прекрасные душевные качества, дружелюбие, преданность делу. Ясно, что это были и тогда очень способные и умные ребята; ведь мы сейчас внутренне мало отличаемся от того, чем мы были тогда («какими в колыбельку – такими и в могилку») и в нашей душе теперь живут основы прежнего самосознания, сохраняющиеся несмотря на дополнение и деформации в результате последующей жизни (то есть старение). «Да ты все такой же, как был в общежитии – помнишь? Только, конечно, внешне изменился, постарел немножко», – сказал мне недавно побывавший у нас на даче Поздняков, а я ему: «Да и ты, Сережа, все тот же». И так обычно.

³³ Гордон Осип Львович (1898–1958) – терапевт, гастроэнтеролог, профессор. Доцент кафедры лечебного питания Центрального института усовершенствования врачей, заведующий отделением болезней ЖКТ Института питания. Автор работ, посвященных физиологии органов пищеварения, гастроэнтерологии и лечебного питания при заболеваниях ЖКТ.

³⁴ С 1945 года – директор Государственного центрального института курортологии.

³⁵ Выгодчиков Григорий Васильевич (1899–1982) – советский микробиолог, иммунолог и аллерголог, академик АМН СССР. В 1954–1955 годы – директор Института эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи.

Как видно, подобрался довольно способный народ, из которого вышел толк

Факультетскую хирургию вел И. К. Спизарный³⁶. На этой кафедре уже тогда работали наши студенты – Б. А. Петров³⁷, А. А. Ремизов, К. А. Маркузе и другие (часть их также вышла в профессию). Группы эти были как бы замкнутым «государством в государстве», они ничем иным не интересовались, кроме операций да перевязок (или мы просто не знали, чем они еще интересуются). И. К. Спизарный любил читать о костях и выкрикивал фальцетом лекции.

Мы были кураторами одной больной, очень милой женщины, артистки. У нее была очаровательная девочка шести лет; фотокарточку дочки она держала на прикроватном столике. Молодая дама страдала желчнокаменной болезнью, приступы, правда, были редкими, но ее уговорили лечь на операцию. На операционном столе она говорила: «Я боюсь. Помните, что у меня есть дочь». Мы стояли рядом (мы с нею очень подружились, она нас угощала конфетами, а ей в палату мы приносили цветы), она, засыпая под эфиром, еще улыбалась нам. Операция затянулась. Хирург не заметил, что лигатура на культю желчного протока соскочила и желчь пошла в брюшную полость. Не приходя в себя, больная скончалась. Мы были потрясены. Возможно, с того момента я и стал терапевтом.

Возможно, с того момента я и стал терапевтом

На занятиях по акушерству мы заучивали «Правая ложка называется правой потому, что вводится правой рукой в правую сторону матери и не имеет замка». Рождение ребенка нас трогало, счастливая улыбка матери говорила, что все хорошо в этом лучшем из миров.

На лекциях по кожным В. В. Иванов³⁸, угрюмый, сутулый дядя в военном кителе, скрипучим голосом говорил что-то об элементах (то есть кожных сыпях) и любовно ощупывал сифилитическую папулу, предлагая это делать боязливым слушателям, приговаривая: «Спирохеты не прыгают».

На лекциях по нервным болезням профессор Григорий Иванович Россолимо ¹⁹¹ нас всегда привлекал не математикой топической диагностики и не безрадостным лечением больных (да и сейчас оно почти не улучшилось), а своим обликом. Мы знали, что это друг А. П. Чехова. Кроме того, Россолимо был крупный ученый, известный своими оригинальными трудами (студенты, не вникая в суть этих достижений, обычно угадывали, кто истинный ученый, а кто говорит с чужого голоса). Наконец, он казался нам обаятельным в своем душевном подходе и деликатной речи. На праздновании Татьянина дня он нам, студентам, сказал, перефразируя слова Калигулы: «Как жаль, что вы не имеете одной головы, но не для того, чтобы ее снять, а чтобы ее обнять» (и я был горд, что при этом он обнял меня). Правда, мы подсмеивались над его детскими тестами (определявшими внимание, комбинационные способности и т. п.), нам казалось, что умный человек по этим пробам выйдет в дураки, а дурак, чего доброго, сойдет умницей.

³⁶ Спизарный Иван Константинович (1857–1924) – хирург, профессор по кафедре хирургической патологии в Московском университете.

³⁷ Петров Борис Александрович (1898–1973) – видный хирург, педагог, научный и общественный деятель, академик АМН СССР.

³⁸ Иванов Владимир Владимирович (1879–1931) – русский советский дерматолог и венеролог. Заведовал кафедрой кожных и венерических болезней I Московского медицинского института с 1917 по 1925 год.

На рождественские каникулы я поехал домой. Только начал я флиртовать с девицей, какой-то беленькой курсисткой, на катке, как заболел мой отец. Он ездил незадолго до этого к больному на станцию Сопково и запомнил, что его укусила вошь в переполненном и грязном вагоне (первых или вторых классов уже не было). Через положенный срок начался сыпной тиф. Отцу было 62 года, у него был, по-видимому, склеротический шум в сердце; последнее время он часто жаловался на боли в груди, но не прерывал работы, а только говорил жене: «Зинаида, я скоро умру». Но обычно таким заявлениям никто не придает значения...

Я почти все время дежурил у него в комнате. Он был в сознании, мы даже обсуждали с ним «Закат Европы» Шпенглера (книгу, тогда наделавшую шуму). Я сообщил отцу о том, что нового известно по сыпному тифу (только недавно вышли на эту тему монографии). Он говорил, что голова у него не болит, только как-то маетно. В ночь с 5 на 6 января температура стала падать, но он потерял сознание, наступила агония, длившаяся до полудня Крещения.

Смерть отца всколыхнула весь город и окрестные районы. Гроб дорогого человека в привычных комнатах, в которых протекало ваше детство, – жуткое зрелище. Но дело не в этом, просто было бесконечно грустно. Это был большой удар для меня, и я сразу перешел из поры юности в пору зрелости. Хоронили торжественно, при небывалом стечении народа, все служащие, учащиеся и т. п. были отпущены со службы и занятий, а все учреждения города закрыты; из деревень приехали крестьяне; члены исполкома и друзья сказали хорошие речи.

В эти дни оживились вылазки эсеров и меньшевиков на заводах и в высших учебных заведениях

Потеря отца для сына как будто неизбежное, предусмотренное самой природой испытание, и оно обычно преодолевается, как бы ни были крепки родственные связи. И вот я снова в Москве; я был так глубоко потрясен, что сосредоточил все свои усилия не на том, чтобы казаться театрализованно мрачным, а напротив, чтобы спрятать свое горе и не показывать его чужим.

Мрачная зима, казалось, на исходе. Вот уже и февраль 1921 года. События на юге приняли более благоприятный оборот, но вдруг разразился Кронштадтский мятеж. Это был, по-видимому, кульминационный пункт борьбы после Октября. Ведь выступили, пусть обманутые, моряки – те самые моряки, кронштадтцы, которые брали Зимний и разгромили Керенского под Пулковом. В эти дни оживились вылазки эсеров и меньшевиков на заводах и в высших учебных заведениях.

В Богословской аудитории была созвана сходка, на которой от горкома партии выступал Невский по текущим событиям и призывал к отпору контрреволюции. Потом выступали студенты, и в том числе я (и кто меня дернул, просто не понимаю). Говорил я о желании молодежи иметь самоуправление, о свободе личности и слова. После меня выступил кто-то, заявив, что речь моя в такое время звучит не только несвоевременно, но прямо подозрительно. Я уже и сам понял, что наболтал лишнего, и все последующие дни был в беспокойстве, так как шли аресты студентов. Каждый вечер я ложился спать и прислушивался, не стучат ли в дверь. Бежать? Куда? Почему? Что я сделал преступного? Через несколько дней ночью, действительно, раздался стук, и два или три чекиста предъявили мне ордер на обыск и арест. Помню, я дрожал, старался сдержать дрожь и не мог. В этот момент вошла в нашу комнату моя мать и стала собирать мне вещи и продукты. Мы попрощались с нею и с товарищами по общежитию – все мое волнение разом стихло, стало даже интересно. Меня посадили в легковой автомобиль и по пустынным улицам повезли на Лубянку. Там дали заполнить анкеты: «Чем занимался до революции отец», «Чем вы занимались до революции», «Ваше отношение к советской власти». Этот последний вопрос поставил меня в

тупик. Как ответить? Я сам не задавал себе этого вопроса: как, в самом деле, я отношусь к советской власти, как это сформулировать? Не отрицательное и не враждебное, это ясно. Написать «положительное, лояльное» как-то неловко, за что же тогда меня посадили, это уже было заискиванием.

Нет, ничего не напишу. Если спросят, скажу (так и не спросил никто). Какая-то девица, служившая там, мне показалась знакомой. «И я вас узнала, я же студентка 2-го Университета»³⁹. «Вот тебе и на», – подумал я; следовательно, и у нас, поди, имеются такие.

Потом меня ввели в переполненное людьми помещение, так называемый корабль – очевидно, это был раньше склад или антресоли бывшего зала. Какие-то галереи. И вот я – заключенный. Все «политические» посажены недавно, много студентов, это перевалочный пункт, потом уже настоящая тюрьма. Мы знакомимся. Уже утро, но не хочется спать; нам приносят кипятку, мы едим то, что было с собой захвачено; как будто, действительно, куда-то плывем, может быть, в трюме. Потом вызывают по партиям сгребать выпавший только что обильный снег. Мы весело действуем лопатами, но слышим где-то вблизи шум проснувшейся Москвы, и меня опять берет тоска. Потом все ждут допроса.

Наконец на второй день – моя очередь. Прекрасная комната, удобное кресло, следовательно любезен: «Садитесь, вы курите?» – «Спасибо, я не курю» и т. д. «К чему же клонились ваши призывы на сходке?» – спрашивает он строго. – Ты, видно, отсюда не скоро выберешься». Стало быть, дело дрянь.

Мы разделись, нас повели мыться, вещи пересмотрели, а особенно взятый мною том «Внутренней секреции» Бидля, и по мрачным коридорам рассовали по камерам.

В камере, куда я попал, было человек тридцать. В углу стояла большая параша с мочой, окно забито решеткой, своды, стены и пол каменные. «Вот это тюрьма так тюрьма», – подумал я. Будили нас рано, мы убирали помещение, пили кипяток; на обед – какая-то похлебка с просом; днем – прогулка во дворе под присмотром конвойных, в круг, как на картине Ван Гога. Как-то раз вошла молоденькая женщина в халате – тюремный врач. «Нет ли больных? Не надо ли лекарств?» Мы благодарно посмотрели на нее, сказали: «Нет, спасибо» и уткнулись в свои жесткие соломенные подушки.

Шли тягостные дни. Время от времени часовой посматривал на нас из коридора через окошечко. Изредка – вдруг вызов: такого-то к допросу, такого-то с вещами. Хуже всего просто вызов, неизвестно с какой целью (может быть, расстрел?). Вызов с вещами означал или перевод в другую тюрьму, может быть, за город, или освобождение.

Вызов с вещами означал или перевод в другую тюрьму, может быть, за город, или освобождение

Наконец, раздался вызов меня с вещами. До последнего момента я не знал, куда меня ведут, и вдруг увидел светлую улицу из арки подъезда. Часовой получил пропуск и выпустил меня за ворота. Я шел, лучше сказать, летел теплым апрельским утром по Садовому кольцу – домой. Я на свободе!

Быстрое освобождение мое могло зависеть от двух причин: 1) от отсутствия состава преступления и 2) от заступничества, тогда оно еще было возможно. Наш военком Попов, казавшийся всегда симпатичным парнем, совместно с представителями студенческих общественных организаций явились к Н. А. Семашко и просили за меня. Н. А. Семашко через три недели позвал их и сказал: «Он просто наболтал что-то. Надеюсь, обойдется».

³⁹ 2-й Московский государственный университет (2-й МГУ) – высшее учебное заведение в Москве (1918–1930). Создан в 1918 году на основе Московских высших женских курсов. В 1930 году реорганизован в три самостоятельных вуза.

И обошлось. Хуже вышло с некоторыми однокурсниками, которые участвовали в оппозиционных партиях. Они призывали объявить «забастовку студентов», их арестовали и отправили в тюрьмы на периферию, надолго. Часть их погибла, часть была выпущена без права жительства в Москве и в других крупных центрах («минус – шесть»). Они не закончили курса; правда, часть восстановили позже в вузе.

Я по-прежнему был старостой курса и не помню, чтобы ко мне изменилось отношение как студентов, так и профессоров; и коммунисты были со мной довольно дружелюбны – Сакоян, Коган⁴⁰, Жоров⁴¹ и другие (они сейчас работают вместе со мной в I МОЛМИ⁴²). Как будто бы благополучный конец ареста означал «проверку».

Вскоре Москва хоронила великого революционера Кропоткина⁴³. Через Пречистенку (затем – улицу его имени) шел бесконечный людской поток. Шли под черными знаменами анархисты; под плакатами своих центральных комитетов и партийными лозунгами шли члены партий меньшевиков, левых и правых эсеров, народных социалистов. На короткий миг блеснула иллюзия общности, единства демократических целей – и в звуках «Вы жертвою пали» и «Варшавянки» слышалась героика революций 1905 и 1917 годов. Правительство разрешило выпустить политических заключенных под их честное слово – с тем, чтобы после кладбища они вернулись в тюрьму. Кажется, то был последний акт их открытого участия в жизни страны; потом они сойдут со сцены совершенно, и только вспышки злобы этих отвергнутых народом групп в будущем еще потрясут Москву (покушение на Ленина).

На пятом курсе – новые профессора. Среди них привлекал нас своей просвещенностью и умной хирургической тактичностью А. И. Мартынов⁴⁴. Этот ровный, благожелательный профессор говорил тихо, но студенты жадно ловили его слова.

На короткий миг блеснула иллюзия общности, единства демократических целей

Напротив, другой талантливый хирург, повторявший нам по нашей просьбе забытую с третьего курса оперативную хирургию, П. А. Герцен⁴⁵ – внук писателя А. И. Герцена, громко кричал на ломаном русском языке (он воспитывался во Франции): «Нэ бойтесь кравитечней. Какая красивая картина. Пальцевое прижатие – вот ино – хлоп!»

Психиатр П. Б. Ганнушкин⁴⁶ вел в обстановке аудитории интимные и проникновенные беседы с сумасшедшими; он умел показать особенности их болезни столь ярко, что потом,

⁴⁰ Коган Борис Борисович (1896–1967) – терапевт, профессор кафедры госпитальной терапии I Московского медицинского института, проходил по «делу врачей» (см. ниже).

⁴¹ Жоров Исаак Соломонович (1898–1976) – советский хирург, один из основоположников советской анестезиологии и создатель первой советской анестезиологической школы, профессор.

⁴² I Московский ордена Ленина медицинский институт. С 1955 года – I Московский медицинский институт имени И. М. Сеченова (ММИ). В настоящее время – Первый московский государственный медицинский университет.

⁴³ Кропоткин Петр Алексеевич (1842–1921) – революционер, теоретик анархизма, географ, историк, литератор.

⁴⁴ Мартынов Алексей Васильевич (1868–1934) – русский советский хирург. Автор нескольких трудов по хирургическому лечению болезней печени, желчных путей, щитовидной и поджелудочной желез, облитерирующего энтерита. Создал научную школу.

⁴⁵ Герцен Петр Александрович (1871–1947) – русский советский хирург, член-корреспондент АН СССР. Внук А. И. Герцена. Медицинское образование получил за границей. Профессор медицинских факультетов Московских университетов. Одновременно был директором Института для лечения опухолей (ныне Центральный онкологический институт имени П. А. Герцена).

⁴⁶ Ганнушкин Петр Борисович (1875–1933) – русский советский психиатр, ученик С. С. Корсакова и В. П. Сербского, создатель оригинальной психиатрической школы. Занимался исследованием взаимодействия психиатрии и общества, организации психиатрической помощи (по его инициативе была создана внебольничная система диспансеров). В 1936 году имя П. Б. Ганнушкина было присвоено Московской психиатрической больнице № 4.

шагая по улице, мы выискивали у самих себя соответствующие признаки и невольно начинали считать фонари и окна домов или предаваться навязчивым мыслям. Мы находили в каждом из нас черты психиатрических типов или конституций. Часто пациенты говорили о Чека, выдавали себя за Николая II, Керенского или Ленина. На Ганнушкина ходили артисты, литераторы и интересные девушки. Сам он был Квазимодо, но неотразимо нравился всем.

На кафедру госпитальной терапии был переведен Петр Михайлович Попов (из Новоекатерининской больницы). Это был наш старый любимец. Его вступительная лекция (в той самой аудитории, в которой я все эти годы читаю) запомнилась всеми. Он говорил, что имел в жизни три страсти: лошади, женщины и медицина. К сожалению, вскоре Попов заболел, думали, плеврит. П. М. Попов в свое время учился вместе на одном курсе с моим отцом, и когда узнал о смерти отца, сказал (как мы все в подобных случаях говорим): «Скоро, чего доброго, и мой черед». Так и вышло. Плеврит оказался кровянистым. Я навестил больного дома, он задыхался «точно Левиафан, выброшенный на берег». «Я поставил сам себе диагноз: рак легкого», – сказал он. Мы хоронили его с особой теплотой.

Скоро уже конец занятиям. Опять дуют весенние ветры.

Мы устраиваем разбор «Записок врача» Вересаева. Сам писатель участвует в дискуссии в Большом зале Консерватории. Он полноват и желтоват, не таким его представляешь по запискам. Одни из нас защищают неврастенический тон записок; другие отмежевываются от них, призывают к бодрости, уверенности. Медицина совершенствуется, общество уже не то, испытания будут, но все-таки «впереди – огни, впереди новые формы деятельности врача», – возглашает юный третьекурсник Жорж Левин⁴⁷, симпатичный парень. (Отец его лечит Кремль⁴⁸, а мать его, красивую даму, написал недавно художник Пастернак⁴⁹.)

Жорж, конечно, социалист, как и мы все, но он под давлением семьи сыграл свою свадьбу по еврейскому обряду в синагоге. Мы, не желая его обижать, даже идем туда и стоим с брезгливой миной, посмеиваемся над приятелем, надевшим черный цилиндр. Потом за торжественным ужином поет Собинов, вернувшийся из-за границы, он был уже очень толст, с четырехугольным лицом и немного задыхался.

Вообще у нас пошли другие знакомства. Стал пробиваться наружу нэп. Спекулянты превратились в еще полутерпимых торговцев. Мы нехотя приходили ужинать к богатеющим евреям, слышали о каких-то сделках (меняли кровельное железо на мешки соли или иголки на сахар и т. п.). Мы давали себе зарок не ходить в такие места, но там кружились хорошенькие девчонки, они кокетливо одевались, напевали: «Прощайте, други, я уезжаю и шарабан мой вам оставляю» и т. д.

Вообще у нас пошли другие знакомства

Очень миленькая Зина взяла как-то меня под руку и сказала: «А я учусь на фоне (факультет общественных наук в университете). Я хочу быть юристом-прокурором. Да нет, шучу. Я выхожу замуж за нэпмана, мне нравится сила в мужчине – сила ума, сила денег, сила положения, сила – ну, словом, еще одна сила», – и она расхохоталась. Я не мог понять, дурит ли она или просто таковы теперь девушки. Зина была стройной шатенкой с теплыми коричневыми зрачками, в которых сверкали камешки, щечки ее пылали розами. Мы ходили с нею к храму Христа Спасителя. Это был (опять был!) грандиозный, прекрасный собор из мра-

⁴⁷ Левин Георгий Львович – врач, доцент, в 1949–1954 годах был репрессирован.

⁴⁸ Левин Лев Григорьевич (1870–1938) – врач-терапевт, доктор медицинских наук, консультант лечебно-санитарного управления Кремля. Был личным врачом А. М. Горького, В. И. Ленина, В. М. Молотова и многих других деятелей партии и правительства. Был репрессирован. Один из правнуков Л. Г. Левина – Владимир Высоцкий.

⁴⁹ Пастернак Леонид Осипович (1862–1945) – российский живописец и график. Отец поэта Бориса Пастернака.

мора, с золотым куполом, сияющим над Москвою. Русский его стиль вполне гармонировал с золотыми луковицами чудесных кремлевских церквей. Несмотря на свои размеры, он был чрезвычайно легок, светел и пропорционален. Находились люди, которые говорили, что он не представляет никакой художественной ценности и олицетворяет собой лампадное православие. Внутри собор сверкал отделкой и прекрасными произведениями русских художников второй половины прошлого столетия. Он величаво стоял на берегу Москвы-реки, и с гранитных плит его лестниц мы любовались Кремлем. Была уже поздняя весна, продавали сирень. Мы с Зиной гуляли до рассвета, я не прочь был завоевать ее сердце, – с тем, чтобы положить его в карман и там носить его, авось потребуется.

Как-то раз я явился к ней (она жила на Молчановке) с букетом сирени. «Что ты, жених, что ли?» – подумал я и положил цветы в переплет перил лестницы. Я позвонил, и мы рассуждали о чем-то, о жизни, любви, но так и не сказали о чувствах (да, может быть, чувств и не было – или они были не в должной концентрации). Когда она провожала меня, увидела поникшие цветы, посмотрела на меня и рассмеялась. Мы целовались, сходя по ступенькам, и в подъезде, но...

2 июля был выпускной вечер курса. Экзамены, их было двенадцать, прошли быстро, как проформа (я не помню, готовились ли к ним). Под утро мы отправились на Воробьевы горы. Там зеленела молодая листва, стоял сладостный запах цветения, томная прохлада. Мы бродили с Зиной. Я не знал, что делать. Она была хороша, меня тянуло к ней, но... Мне казалось, что наконец я свободен, жизнь моя впереди, я врач. Чувство независимости, желание нового, неизвестность судьбы манили меня. «Ты куда едешь?» – спрашивал меня Сережа Поздняков. Он знал, что профессор Плетнев получил отказ в ответ на его просьбу оставить меня в его клинике ординатором (ему назначили Пункерштейна, сын которого, много лет спустя, учился у меня потом в клинике ВММА). Д. Д. Плетнев несколько дней тому назад шел со мной мимо клиники на Девичьем поле. «Я уверен, что придет время и вы получите мою клинику», – сказал он. И я был все эти дни горд от этих слов. А пока Плетнев дал письмо к петроградскому профессору Г. Ф. Лангу⁵⁰. «Стало быть, ты едешь в Петроград», – сказал Сережа, а Зина посмотрела на меня немножко грустно. «Так мы расстаемся», – произнесла она тихо. «Да, – ответил я, – но...»

Чувство независимости, желание нового, неизвестность судьбы манили меня

Что я хотел сказать этим «но»? Мы подошли к группе молодых врачей. Они кричали: «Да здравствует юность, наша alma mater, выпьем за наше будущее, за встречу!»

⁵⁰ Ланг Георгий Федорович (1875–1948) – видный русский советский терапевт, основатель отечественной школы кардиологии.

4. Клиника Ланга. Ленинград

Я подъезжал к Петрограду в ясный сентябрьский день. На станции Любань к вагону несли огромные букеты осенних цветов – астр, георгин; мальчишки совали кулечки с брусникой.

Старый Николаевский вокзал показался грязным и беспорядочным. Стояла осень 1922 года, а в последний раз я был в Петрограде в 1915 году. За несколько лет войны и революции изменилось многое. Невский, теперь проспект 25 Октября, казалось, был тот же, но дома облупились и облезли; вместо блестящей публики – разодетых модных дам, ярких офицеров, черных господ в шляпах – шли, как и в Москве, обычные «граждане»: женщины в виде мешков и с мешками, мужчины, приземистые в своих кепках и бурых пиджаках; рубашки темного цвета совершенно вытеснили белые воротнички; штанины брюк, широкие и мятые, довершали картину пренебрежения к внешнему виду. Большие магазины оставались заколоченными, но там и сям, особенно в старом коммерческом гнезде, по Перинной линии или в Апраксином дворе, уже открылись лавки нэпа. Нэп предпочитал пока вести торговлю в подъездах и на углах – он еще жался, боязливо озираясь: не обман ли новая экономическая политика, только что возвещенная Лениным?

Так как извозчика нельзя было найти (а такси тогда, конечно, еще не было), мы с моим братом Левином пошли пешком с вещами, частенько останавливались, чтобы отдышаться; впрочем, до Моховой недалеко. Там мы временно остановились у отдаленных родственников, а через несколько недель переехали на Пантелеймоновскую в отличную квартиру какого-то еврея, у которого «все уехали» (куда, мы не спрашивали). Он нам сдал комнату и зало с отоплением за 40 рублей в месяц, очень дорого по тогдашним деньгам, и мы стали искать другое пристанище.

Тогда в Петрограде квартиры пустовали. Можно было и купить их (просто владелец квартиры вам передавал ее за тот или иной куш, не помню какой, а сам выделял себе часть ее с отдельным ходом; управдомы и жилотделы обычно не чинили препятствия, если, конечно, они были в этом определенным способом заинтересованы сами). Но у нас не было для такой покупки ни денег, ни умения.

Тогда в Петрограде квартиры пустовали

Вскоре нам помогла найти комнату А. А. Тхоржевская. Она жила на Сергиевской улице и, за отсутствием других занятий, сделалась управдомшей. Тхоржевская нас сосватала к некому Шарфману, который жил один, занимая шестикомнатную барскую квартиру, и он сдал нам за пустяковую плату удобную комнату; ему было скучновато одному; он предоставил в наше распоряжение и зало с роялем. То был холостяк, богатый в прошлом коммерсант, не желавший в новых условиях ни служить, ни начинать вновь «дело» («не верю, это просто ловушка»); Шарфман был к тому же стар, хотя к нему частенько приходила какая-то молоденькая особа, якобы родственница, которая оставалась в квартире ночевать.

Первые месяцы я работал в Государственном институте для усовершенствования врачей (ГИДУВ)⁵¹ на Кирочной, 41. Я пришел с рекомендательным письмом Д. Д. Плетнева к профессору Георгию Федоровичу Лангу, тогда заведующему терапевтической клиникой этого института. Профессор мне показался важным и властным; одет он был безупречно (всегда белые рубашки со сверкающими чистотой манжетами и воротничками и хорошо

⁵¹ Ошибка автора. До 1924 года это учреждение называлось Клиническим институтом.

вытуженный костюм; к тому же он облачался в белоснежный длинный халат). Его глаза сквозь очки светились умом, пронизательный взгляд заставлял как-то сразу подтягиваться, делаться как можно больше на высоте своих возможностей, стараться не уронить себя случайной глупостью. Большая фигура Г. Ф. Ланга всегда выделялась на обходах среди толпы врачей – точно слона окружали какие-то другие более мелкие и незначительные звери.

Профессор принял меня довольно сухо, хотя и любезно, и, почти ничего не сказав, направил к одному из своих ассистентов М. Э. Мандельштаму⁵². Я был принят как экстерн – работать в клинике бесплатно. В то время многие врачи работали в клинике экстернами. Одни из них – большинство – где-то служили (в амбулатории, в медчасти завода и т. п.); другие стояли на очереди в бирже труда (на Кронверкском проспекте) и жили на случайный заработок (уроки, разгрузка вагонов и т. п.) или на средства родителей. У Ланга врачей-экстеров было два-три десятка. Все выполняли одинаковую со штатными работу в соответствии с их степенью подготовки и стажем.

М. Э. Мандельштам принял меня также суховато, но любезно (как и шеф). Он дал мне двух-трех больных в своем отделении и предложил помогать ему в электрокардиографическом кабинете. Электрокардиограф был старый, конструкции Эдельмана, я ничего в нем не смыслил; меня просили только включать и выключать штепсель. Я включал или выключал штепсель и посматривал потом на схемы, которые были приготовлены для усовершенствования врачей.

М. Э. Мандельштам был небольшого роста, худощав, с розовыми щеками и черными волосами, он был похож на Иисуса Христа. Говорил он точно, делал все систематически.

Все выполняли одинаковую со штатными работу в соответствии с их степенью подготовки и стажем

Через некоторое время Мандельштам пригласил к себе домой обедать; как хозяин, он становился другим человеком – сердечным и разговорчивым. Каждое воскресенье он кормил меня обедом. Жил он один – с отцом, в большой квартире (позже он женился на молодой приятной даме и имел милых детей). М. Э. Мандельштам был специалистом по сердечно-сосудистым болезням; имел практику, которая давала ему возможность поддерживать высокий материальный уровень жизни. Прибавлю, что в последние годы жизни Сталина, когда многие профессора-евреи должны были поехать в периферийные вузы, он, будучи уже многолетним профессором терапии в Ленинградском педиатрическом институте, временно отказался от кафедры, а потом, когда времена изменились к лучшему, стал делать тщетные попытки вернуть свою кафедру (клинику). От огорчения ли, от возраста ли, он стал болеть и потом умер. Это был честный, образованный, европейского склада специалист, компетентно изучавший некоторые частные вопросы кардиологии (и я думаю, никогда не прибегавший к «преувеличениям», вольным или невольным).

Однажды я имел наконец честь докладывать Г. Ф. Лангу на разборе своего больного. Это был сложный случай селезеночного заболевания типа болезни Банти – с кровотечениями из желудка и прямой кишки. Г. Ф. Ланг слушал благосклонно и при обосновании диагноза как-то незаметно направил меня в неожиданную и весьма интересную сторону: нет ли у больного тромбоза селезеночной вены? Тогда еще эта форма ни в руководствах, ни в лекционном курсе не фигурировала (и, естественно, я о ней ничего не знал). Под конец разбора

⁵² М. Э. Мандельштам в 1936 по 1942 год заведовал кафедрой пропедевтики внутренних болезней с курсом ухода за терапевтическими больными СПбГПМА (ЛПМИ).

мне стало даже казаться, что данный диагноз был столь же Г. Ф. Ланга, сколь и моим (само-надеянность? педагогический прием учителя? или, вернее, и то и другое одновременно).

Параллельно я стал посещать кафедру бактериологии профессора Г. Д. Белановского⁵³. Я сидел там за столом с платиновыми иглами и делал посевы на чашках Петри и т. д. и т. п. Профессор читал глухо и сбивчиво, но он работал в Пастеровском институте в Париже, и у него были своеобразные взгляды по важным вопросам его науки (не помню, впрочем, в чем они конкретно состояли, просто он всегда имел «свое мнение», якобы им доказанное, что особенно важно в глазах начинающих). Человек он был симпатичный, немного барин и лентяй; дома – очень любезная семья, меня просили играть Шопена, я, по молодости лет, играл, не стесняясь.

Вскоре мне была поручена – раньше, чем Г. Ф. Лангом – научная работа об антигенетике⁵⁴ для серодиагностики туберкулеза; я растил коховские бациллы на яичной среде и ставил пробы с этим антигеном с сыворотками больных по типу реакции Вассермана на сифилис. Вне зависимости от того, что получалось (данные в практическом отношении не очень определенные, а потому метод не нашел широкого применения), мне было полезно изучить методику (а скорее даже дух) бактериологической и серологической работы. Неожиданно быстро статья моя была напечатана во «Врачебной газете» – первый печатный научный труд, через год после окончания курса! Это было радостным событием, повышавшим меня в собственных глазах.

Это было радостным событием, повышавшим меня в собственных глазах

Забавно, что первая научная работа моя была не по той специальности, которой я занимался всю жизнь и написал в последующем соответствующее число статей и книг, – ни по бактериологии, ни по туберкулезу я больше никогда не работал.

Вскоре Г. Ф. Ланг решил уйти из ГИДУВ в I Ленинградский медицинский институт (I ЛМИ) (где он давно работал, начиная еще с ординатора Петропавловской больницы). Он предложил перейти туда и некоторым экстернам, в том числе мне. Ланг узнал, что я не очень-то материально обеспечен (нам с Левиком посылала деньги мать, продолжавшая жить в Красном Холму и принимать глазных больных после отца).

Штатных мест в факультетской клинике I ЛМИ пока не было; Г. Ф. предложил помогать ему на его частных приемах больных дома два раза в неделю по вечерам – за что он уплачивал мне по червонцу за прием (тогда уже была новая валюта). Так как зарплата ординатора клиники была около 80 рублей в месяц, то выходило, что он платил мне за восемь приемов в месяц ту же сумму. Г. Ф. принимал в кабинете; я сидел в соседнем зале. Пациент приходил сначала ко мне, я расспрашивал его о жизни, о болезни, заносил все эти краткие данные на карточку, измерял все: пульс, кровяное давление. Потом – пауза. Г. Ф. еще не отпустил предыдущего больного; через дверь слышен его императивный голос: «У вас я ничего не нахожу. Только нервность на почве переутомления. Вот вам микстура, принимать так-то и так-то. Когда прийти вновь? Не надо. Все пройдет». Действительно, обычно все проходило. Большинство пациентов были невротики, или мнительные, или кем-то (часто врачами) испуганные люди, им было важно побывать у знаменитого профессора, после чего

⁵³ Белановский Георгий Дмитриевич (1875–1950) – микробиолог и иммунолог, ученик И. И. Мечникова и С. П. Боткина. Основатель и руководитель кафедры бактериологии ЛенГИДУВ (1917–1950). Совместно с В. А. Таранухиным (1873–1920?) предложил вирусную концепцию гриппа. Член-корреспондент АН СССР (1929).

⁵⁴ Сейчас это называется «исследование иммунных комплексов», «реакция антиген – антитело».

они вскоре забывали о том, что считали себя еще недавно больными. На приеме Г. Ф. Ланга я убеждался в том, как велик суггестивный компонент в лечении. И мне с тех пор понятно, почему в век расцвета терапии (антибиотики, гормоны, витамины) все еще популярна гомеопатия. Маленькие блестящие зернышки, полученные из рук знаменитого гомеопата (по сути дела – абсолютного шарлатана) действует так же, как бром с валерианой, полученные по рецепту Г. Ф. Ланга.

Г. Ф. Ланг во время своих приемов проявлял еще одну важную черту: он избегал обманывать больных, он всегда находил слова, которые бы давали понять больному сущность болезни. И хотя в прихожей была вывешена такса гонорара, он никогда не пользовался своим авторитетом с точки зрения выгоды, не назначал больным зря прийти второй раз или не отправлял на излишние исследования и консультации, не принимал денег, которые ему больные совали для того, чтобы он их положил к себе в клинику.

Сколько замечательных людей из ленинградской интеллигенции повидал я на этих приемах! Шлиссельбурца Н. А. Морозова⁵⁵, основоположника советской оптики Д. С. Рождественского⁵⁶ и других.

Приходилось мне – в связи с консультациями Ланга по лечкомиссии – быть у Зиновьева⁵⁷ и Евдокимова⁵⁸, руководителя ленинградской партийной организации. Зиновьев был толст и зол, а Евдокимов искренне любил город, восхищался им даже как-то поэтически (он, кажется, тоже расстрелян?).

В перерыве между записями больных у Г. Ф. Ланга я читал медицинские иностранные журналы; Г. Ф. выписывал их около двадцати; кроме того, постоянно приходило по почте много бандеролей с иностранными марками с книгами. Вообще у Г. Ф. Ланга была превосходная библиотека, которой пользовались его сотрудники, они приходили читать журналы и книги в отведенную для этого специальную комнату. Г. Ф. Ланг отличался умением быстро улавливать самое главное, отличать нужное от ненужного; он обладал не только исключительной эрудицией, но и особым складом ума, позволявшим громадные литературные материалы быстро приводить в стройную и эффективную систему. Его критический ум не поддавался на моду, сенсацию, хотя каждую новую идею, новый метод он отмечал с интересом.

По окончании приема Мария Алексеевна, его жена (теперь – заведующая кафедрой патологической анатомии в I ЛМИ), приглашала нас к столу; это была приветливая и воспитанная дама, высокого роста, блондинка, с крупным полным лицом; детей у нее не было (у Г. Ф. Ланга были дети от первой жены, изредка приходившие навещать отца).

Через год я получил штатное место ординатора клиники.

Ходить на работу было далеко, и мы стали искать квартиру на Петроградской стороне. Сперва поселились у какой-то странной особы, которая одна занимала семикомнатную квартиру на Каменноостровском (улица Красных Зорь); комнаты были заставлены богатой мебелью, стоял адский холод; мы поставили буржуйку в своей комнате, рядом с кухней. Потом

⁵⁵ Морозов Николай Александрович (1854–1946) – русский революционер-народник, участник покушений на Александра II. В 1882 году был приговорен к вечной каторге, до 1905 года находился в заключении в Петропавловской и Шлиссельбургской крепостях. Написал множество книг и статей по различным естественным наукам, в основном популярного и просветительского характера. Разработал собственную концепцию истории, послужившую основой для «Новой хронологии» Фоменко.

⁵⁶ Рождественский Дмитрий Сергеевич (1876–1940) – русский советский физик, основатель и первый директор Государственного оптического института (ГОИ), один из организаторов оптической промышленности в СССР.

⁵⁷ Зиновьев (Радомысльский) Григорий Евсеевич (1883–1936) – российский революционер, большевик, советский политический и государственный деятель. Занимал высокие государственные посты, с 1919 по 1926 год был председателем Исполкома Коминтерна. Затем находился в оппозиции, был репрессирован. В 1936 году расстрелян. В 1988 году реабилитирован.

⁵⁸ Евдокимов Григорий Еремеевич (1884–1936) – большевик, советский партийный и государственный деятель. С сентября 1925 по 8 января 1926 года – первый секретарь Ленинградского губкома ВКП (б). Соратник Г. Зиновьева, активный участник «новой оппозиции». Репрессирован, расстрелян в 1936 году. В 1988 году реабилитирован.

мы переехали на Большую Дворянскую и зажили хорошо и спокойно. У нас была большая, отличная, теплая комната, хозяйева – милые люди; дочь их – молодая женщина, привлекательная с виду, была где-то артисткой, живая и остроумная особа, и мне немного нравилась (и я ей).

Через год я получил штатное место ординатора клиники

В клинике все годы шла интенсивная и увлекательная работа. Я ходил туда пешком к девяти часам и возвращался домой в шесть. Все молодые врачи активно участвовали в занятиях со студентами. Я довольно быстро стал замещать ассистента М. Я. Арьева⁵⁹, который приходил в клинику лишь по определенным дням. М. Я. Арьев, мой второй после М. Э. Мандельштама непосредственный руководитель, был красивый мужчина с мефистофельским обликом; он был также кардиолог и вскоре написал отличную монографию о мерцательной аритмии и ее лечении хинидином. Мы с ним находились в дружеских отношениях в дальнейшем.

Впрочем, в клинике Г. Ф. Ланга все относились друг к другу хорошо. Это была как бы одна семья, объединенная отношением к шефу и увлечением научной работой. Я не помню, чтобы кто-нибудь с кем-нибудь там ссорился или был в натянутых отношениях. Лишь позже стали выделяться группировки сотрудников, более тесно связанных друг с другом, нежели с другими, но не настолько, чтобы возникали личные нелады.

Это была как бы одна семья, объединенная отношением к шефу и увлечением научной работой

Старшим ассистентом была Н. А. Толубеева, требовательная особа, которую молодежь побаивалась, так как она могла сообщить оценку вашей личности и ваших проступков Георгию Федоровичу, а все мы хотели показать шефу себя с лучшей стороны отнюдь не из-за соображений карьеры, а из самых лучших побуждений (уважения, самолюбия).

Занятия со студентами четвертого курса, естественно, привели к тому, что молодой ординатор стал ухаживать за хорошенькими студентками, и, наоборот, студентки стали ухаживать за молодым ординатором; они даже преподнесли ему шуточный подарок – шнурки для штиблет (после того, как на обсуждении какой-то проблемы в палате увидели на одной ноге преподавателя вместо шнурка бечевку).

Весною мы ходили на острова, в белые ночи любовались на серебряную гладь Невы перед восходом солнца. Кира Кульнева, дочь одного из наших профессоров, писала стихи; это была милая девушка с тонким умом и горячим сердцем.

Если уже писать о романтических делах, то через два-три года после приезда в Ленинград у меня появились почти в одно и то же время сразу три приятельницы, среди которых ни одной я не мог отдать предпочтение.

Татьяна Сергеевна Истаманова⁶⁰, черненькая маленькая ординаторша клиники, начала со мной вести экспериментальную работу на кроликах. Мы вырезали у них селезенку и смотрели за кроветворением по кусочкам костного мозга, получаемым посредством резекции ребра. Маленькая комната, в которой велись исследования, получила название «крольком».

⁵⁹ Арьев Моисей Яковлевич (1885–1947) – видный советский терапевт, кардиолог. В 1945–1956 годы заведовал кафедрой внутренних болезней Ленинградского стоматологического института.

⁶⁰ После смерти Г. Ф. Ланга Т. С. Истаманова до 1972 года заведовала кафедрой факультетской терапии I ЛМИ.

Ловкие руки молоденькой девушки, ее пышные волосы, задевающие мое лицо, гибкие движения, живая острая речь сделали свое. Я стал получать от нее письма, она их оставляла в кармане моего халата или в тетрадке записей; это были пылкие излияния, очень милые и лестные; я отвечал. «Эпистолярный роман» вначале не сопровождался другими проявлениями; впрочем, мы встречались в Филармонии на бетховенском цикле концертов дирижера Оскара Фрида или вдохновенных концертах Отто Клемперера. Позже я стал заходить к Т. С. на квартиру, но тут я обнаружил, что в письме – одно, а на практике – другое. Я примеривал: хочу ли я, чтобы она стала моей женой. Нет, не хочу.

Ирина Скржинская была крупной, мускулистой девушкой с низким контральто; в клинике она сидела в рентгеновском кабинете. С наступлением весны все свое свободное время она проводила на Невке, занимаясь гребным спортом. Ирина жила на Крестовском острове; сад их дома выходил к реке. Загорелая, крепкая, полуобнаженная фигура ее казалась мне бронзовым изваянием какой-нибудь античной (правда, грубоватой) богини. На одноместной гоночной лодке она выглядела, впрочем, иногда довольно ребячливо. На женских состязаниях она занимала первое место. Вместе с тем она была очень интеллигентная девушка, цитировала Мицкевича и Анну Ахматову. «Не любишь, не хочешь смотреть? О, как ты красив, проклятый! И я не могу взлететь, а с детства была крылатой».

Я переболел желтухой (болезнью Боткина), и эта болезнь дала мне толчок к изучению вопроса о желтухе и пробудила интерес к патологии печени. Еще лежа в клинике, в маленькой палате, я перечитывал старые и новые работы по этим вопросам. Именно тогда и родился у меня план последующих исследований в данной области.

Всю зиму и весну 1924 года после острой желтухи я ощущал тупые боли в печени, она была увеличена – и летом мне посоветовали поехать в Ессентуки.

Мы отправились на юг с семьей Скржинских: Ирина с сестрой и матерью ехали в Крым, я решил их «проводить» и потом из Крыма морем через Новороссийск проехать на курорт.

эта болезнь дала мне толчок к изучению вопроса о желтухе и пробудила интерес к патологии печени

В Джанкое Скржинские должны были пересесть на поезд в Феодосию (сестра Ирины была археолог и занималась генуэзскими башнями в Судакe), но дочь упростила мамашу отпустить ее со мной прокатиться до Ялты. Ялта была тогда малолюдной, заброшенной, что придавало городу особую прелесть (увы, исчезнувшую). Мы остановились в какой-то гостинице, попросив два номера. «Зачем же вам два?» – спрашивал насмешливо портье. «Не ваше дело», – ответил я, вспыхнув. Два номера оказались смежными, сообщавшимися между собою через балкон.

Утром мы купались в море, потом бродили по Воронцовскому парку, весело обедали. Вечером прибыл пароход, на котором я должен был плыть на Кавказ, а она – в Феодосию. На палубе мы встретили моего приятеля по Московскому университету – Виталия Архангельского. Он, как и раньше, смешил нас, мы весело проболтали, спасаясь всю ночь от июльского ночного холода у пароходной трубы.

Ирина сошла в Феодосии, а мы отправились дальше, в шторм; в Керченском проливе нас сильно качало. Добравшись до Новороссийска и сойдя наконец на землю, Архангельский посмотрел на море и, сказав: «Прощай, свободная стихия», плюнул в него.

В Ессентуках я скучно ходил по парку после грязевых лепешек на область печени. У источника № 17 я пил через соломинку горьковатую воду. На почте я получил два письма – от Ирины и от Татьяны. Первая писала, как она ждет встречи в Ленинграде, чтобы, наконец,

все решить («Что решить?» – думал я с тревогой). Вторая сообщала, что едет в Тифлис и проездом собирается заехать ко мне. Я отправился ее встречать в Минеральные Воды, но опоздал. Тем временем Татьяна, не найдя меня на платформе, села в вагон курортного поезда и очутилась в Ессентуках. Найти меня там было, конечно, невозможно, и она оставила на почте «до востребования» заплаканное письмо, полное упреков вперемежку с нежными словами. Вернувшись в Ессентуки, я, конечно, не пошел «до востребования» и только через два дня получил письмо.

Бросив лечение, я поехал в Тифлис. Вновь Военно-Грузинская дорога. Милый Тифлис, где прошли годы гимназии, дружбы, любви. Меня встретили Татьяна и ее дядя-профессор; жара, холодная ванна, сочные персики, чудное вино и т. д. Потом мы бродили по Головинскому (теперь проспекту Руставели); дойдя до дома Ротинянц, зашли к ним – никого. Родители умерли, Катя за границей. Воспоминания о прежнем нахлынули на меня; я вспомнил, что такое любовь, и почувствовал, что ее со мной нет.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1.

Николай II выступил 17 января 1895 года в Николаевском зале Зимнего дворца с речью перед депутациями дворянства, земств и городов, прибывших «для выражения их величествам верноподданнических чувств и принесения поздравления с бракосочетанием», в которой, в частности, сказал: «Мне известно, что в последнее время слышались в некоторых земских собраниях голоса людей, увлекавшихся бессмысленными мечтаниями об участии представителей земства в делах внутреннего управления». Это выступление царя рассеяло иллюзии относительно конституционных преобразований сверху и послужило материалом для революционной агитации.

2.

Дело Бейлиса – судебный процесс по обвинению еврея Менахема Менделя Бейлиса в ритуальном убийстве 12-летнего ученика приготовительного класса Киево-Софийского духовного училища Андрея Ющинского 12 марта 1911 года. Процесс состоялся в Киеве 25 сентября – 28 октября 1913 года и сопровождался, с одной стороны, активной антисемитской кампанией, а с другой – общественными протестами всероссийского и мирового масштаба. Бейлис был оправдан.

3.

Захарьин Григорий Антонович (1829–1898) – выдающийся русский терапевт. С 1862 года – профессор и директор факультетской терапевтической клиники Московского университета. Рассматривал организм как целостную систему, а болезнь – как результат неблагоприятного воздействия внешней среды. Славился искусством диагноза и лечения. Создал крупную московскую медицинскую школу, среди представителей которой – ряд выдающихся врачей. В конце жизни консервативные общественно-политические взгляды Захарьина привели к изоляции его от прогрессивных ученых и студенчества, в результате чего в 1896 году он покинул Московский университет.

4.

Невядомский Михаил Михайлович (1883–1969) – профессор, доктор медицинских наук. В 1924 году стал руководителем клиники кафедры пропедевтики внутренних болезней 2-го МГУ, сменил Д. Д. Плетнева. Вслед за И. И. Мечниковым выдвинул гипотезу о вирусной природе рака, затем отказался от нее и разработал теорию паразитарного происхождения онкологических заболеваний. Теория была отвергнута официальной медицинской наукой в пользу онкогенетической, М. М. Невядомский утверждал, что его преследуют (ему сломали ноги в подъезде его собственного дома).

5.

Тарасевич Лев Александрович (1868–1927) – выдающийся русский советский микробиолог и патолог, академик АН УССР. Работал у И. И. Мечникова в Париже. В 1908–1924 годы – профессор Высших женских курсов (затем – 2-го Московского университета). Один из организаторов борьбы с эпидемиями в годы Гражданской войны, основатель первой в СССР станции по контролю сывороток и вакцин (1918) (ныне Государственный научно-исследовательский институт стандартизации и контроля медицинских биологических препаратов им. Л. А. Тарасевича).

6.

Гамалея Николай Федорович (1859–1949) – выдающийся русский советский микробиолог и эпидемиолог. Совместно с И. И. Мечниковым в 1886 году основал в Одессе первую в России бактериологическую станцию. Открыл бактериолизины, возбудитель холеры птиц. Обосновал значение дезинсекции для ликвидации сыпного и возвратного тифов. В 1912–1928 годы – научный руководитель института оспопрививания в Ленинграде, в 1930–1938 гг. – Центрального института эпидемиологии и бактериологии в Москве. С 1938 до конца жизни – профессор кафедры микробиологии 2-го Московского медицинского института, затем с 1939 г. заведующий лабораторией института эпидемиологии и микробиологии АМН СССР.

7.

Архангельский Виталий Николаевич (1887–1973) – врач-офтальмолог, член-корреспондент Академии медицинских наук СССР. Работал под руководством В. П. Одинцова в клинике глазных болезней. В 1938–1944 годы – заведующий кафедрой глазных болезней Куйбышевского медицинского института, в 1944–1953 годы – Киевского медицинского института, в 1953–1971 годы – директор клиники глазных болезней I Московского медицинского института. Одновременно – главный офтальмолог Министерства здравоохранения СССР. Впервые предложил переливание крови при глазных заболеваниях, метод закрытия операционных разрезов при полостных операциях на глаза и т. д.

8.

Плетнев Дмитрий Дмитриевич (1871–1941) – выдающийся русский советский терапевт, один из основоположников отечественной кардиологии. Состоял в партии кадетов. В 1911 году вместе с группой профессоров уволился из университета в знак протеста против действий министра народного просвещения Л. А. Кассо. В 1917–1929 годы – профессор Московского университета, затем Центрального института усовершенствования врачей, одновременно заведовал терапевтической клиникой Московского областного клинического института. С 1933 по 1937 год возглавлял НИИ функциональной диагностики и терапии. Пациентами Дмитрия Дмитриевича в разные годы были В. И. Ленин, Н. К. Крупская, И. П. Павлов, почти все крупные партийные и государственные деятели страны. В 1937 году был репрессирован. Расстрелян.

9.

Россолимо Григорий Иванович (1860–1928) – русский советский невропатолог и дефектолог. Был однокурсником и близким другом А. П. Чехова. В 1911 году вместе с группой профессоров уволился из университета в знак протеста против действий министра народного просвещения Л. А. Кассо. В 1911 году организовал на свои деньги Институт детской психологии и неврологии. В 1917 году передал институт Московскому университету. С 1917 года – профессор МГУ и директор Неврологического института им. А. Я. Кожевникова.